

Дмитрий Мамин-Сибиряк

Братья Гордеевы



Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

Братья Гордеевы

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=328972

Аннотация

Писатель использовал в повести подлинный исторический факт, имевший место в первой половине прошлого века. В «Краткой летописи Нижнего Тагила», под рубрикой: «1821–1825 гг.», имеется следующая запись:

«По приказу Николая Никитича Демидова из заводских школ выбраны самые способные ученики и отправлены за границу для обучения в разных специальных учебных заведениях.

Во Франции обучались: Фотей Ильич Швецов, Николай Андреевич Рябов (горное дело); в Германии – Федор Филиппович Звездин (бронзовое и чугунное литье), Иван Яковлевич Никерин и Иван Андреевич Шмарин; в Швеции – Григорий Ильич Швецов (горная часть), Федор Петрович Шорин (тоже) и Александр Петрович Ерофеев (тоже); в Англии – Павел Петрович Мокеев и Ефим Александрович Черепанов и др.».

Содержание

I	4
II	14
III	24
IV	34
V	44
VI	53
VII	63
VIII	72
IX	82
X	91
XI	100
XII	109

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк Братья Гордеевы

I

Федот Якимыч поднимался утром очень рано и в шесть часов уже выходил на крыльцо, как всегда делал летом. Казак Мишка вперед вытаскивал окладной стул, расстилал под ноги маленький бухарский коврик, и Федот Якимыч усаживался с обычною важностью. Сегодня он был важен и все время разглаживал свою седую окладистую бороду, что не обещало ничего доброго. Крыльцо летом заменяло приемную, и ожидавшие появления Федота Якимыча просители терпеливо толклись где-нибудь во дворе или у ворот. Собственно двор приказчиного дома походил скорее на большую залу: кругом сплошную деревянную стеной шли разные хозяйственные пристройки, пол был выстлан аршинными досками и гладко выструган; чистота везде поразительная. Открытые настежь ворота давали возможность видеть с улицы все, что делалось во дворе, и наоборот. Сегодня кучка любопытных толпилась у ворот задолго до появления Федота Якимыча, о чем-то шепталась, переглядывалась и вопросительно

озиралась на улицу. Очевидно, кого-то поджидали. Летний день занялся таким ярким светом, что глядеть было больно. Солнце только не заглядывало под навес крыльца, где сидел сам Федот Якимыч на своем раздвижном стульчике. Он уже несколько раз озабоченно поглядел на улицу и поморщился, что заставило казака Мишку съежиться, – быть грозе.

– Шесть часов отбило на пожарной? – тихо спросил старик, не обращаясь, собственно, ни к кому.

– Часы отданы, Федот Якимыч! – почтительно доложил Мишка и, как заяц на угонках, глянул боком на улицу.

Федот Якимыч молча погладил свою окладистую седую бороду и еще раз свел брови. Это был типичный старик, какие цветут наперекор природе какою-то старческой красотой. Широкое русское лицо так и дышало силой – розовое, свежее, благообразное. Особенно хорошо было это лицо, когда Федот Якимыч улыбался своею задумчивою, почти грустною улыбкою, что случалось с ним очень редко. Длиннополый сюртук, сапоги бутылками, ситцевая розовая рубашка с косым воротом – все шло к степенной фигуре степенного и важного старика. В особенно трудных случаях он надевал большие круглые очки в серебряной оправе и доставал серебряную табакерку, завернутую в красный шелковый платок. Он мельком взглянул на почтительно затихшую при его появлении толпу и сразу увидел всех: особенно нужных людей не было. С опущенными головами стояли провинившиеся рабочие, ожидавшие строгой кары, две-три бабенки

старались пролезть вперед, – наверное, пришли просить о чем-нибудь; понуро стоял высокий мужик в картузе.

– Ты, Карпушка, погоди, – обратился Федот Якимыч. – С тобой у нас будет свой разговор...

Карпушка только снял картуз и поклонился. И наружностью и манерой себя держать он резко выделялся среди других просителей. Избитые, мозолистые и почерневшие от слесарной работы руки служили вывеской его занятий. Казак Мишка несколько раз говорящим взглядом окидывал Карпушку и даже закрывал рот рукой, точно хотел удержать просившееся с языка словечко. Карпушка хмурился и сосредоточенно старался смотреть в другую сторону.

Прошло пять минут томительного ожидания, а Федот Якимыч не шевелился, точно застыл. Только перебиравшие красный платок пальцы говорили, что он не спит, а все видит и слышит. Федот Якимыч все видел и все слышал, как был уверен весь Землянский завод. Он только слепка вскидывал глазами, когда по улице лихо прокатывалась двухколесная рудниковая таратайка или тяжело проезжала телега, нагруженная дровами. Все, кто шел или ехал мимо господского дома, снимали шайки, а бабы по-утиному кивали головами и на всякий случай старались пройти опасное место поскорее. Из господского дома шли гроза и милость на весь завод. Робкие люди обходили грозный господский дом другою улицею.

Прошло еще четверть часа. Федот Якимыч распахнул

свой сюртук, достал из пестрого бархатного жилета большие серебряные часы луковицей, посмотрел и только поднял седые брови. Он только что хотел подняться с места, чтоб идти в горницы, как на улице задрезжала тележка и смело подкатила прямо к воротам господского дома. Из нее выскочили два молодых человека, одетых совсем необычно для Землянского завода. Один, высокий, белокурый, с выбритым лицом и длинными баками на английский манер, одет был в длинную камлотовую шинель с крагеном и в цилиндр с широкими полями; другой, такой же ростом, с русою бородою и золотыми очками на носу, в драповое пальто «французского покроя» и в лаковые сапоги с желтыми отворотами. Не нужно было особенной проницательности, чтобы узнать в приехавших двух братьев, – старшему, высокому, было под тридцать, а младшему – лет двадцать пять.

– Ждать заставляете! – резко заметил Федот Якимыч, поднося свою луковицу прямо к носу старшему брату. Руки он им не подал, что заметно смутило младшего брата. – Да, ждать... Порядков не знаете.

Старший брат молча достал свои золотые часы и молча поднес их тоже прямо к носу Федота Якимыча. Близорукие большие глаза были защищены золотыми очками.

– Да ты что мне своими часами в нос тычешь? – уж закричал старик, вскакивая.

– Вы назначили нам явиться ровно в шесть часов, – спокойно объяснил смелый молодой человек, пряча часы в кар-

ман, – а сейчас роено шесть часов.

– Врешь ты все, полчаса седьмого прошло.

– Неправда... У вас утром часы бьют на полчаса раньше, а вечером на полчаса позже...

– А, ты мне указывать! – загремел старик и весь побагровел, но сейчас же одержал себя и только махнул рукой. – У нас часы по-своему ходят, а не по-вашему, заграничному.

Заводские часы отбивались неправильно, чтобы выгадать лишний рабочий час, и молодой человек только улыбнулся. Он сразу попал в самое больное место всесильному владыке.

– Ведь ваша фамилия Гордеевы... – в раздумье заговорил Федот Якимыч, точно стараясь что-то припомнить. – Да... И отца вашего покойного знавал. Как же... Еще в свойстве с ним. Долго у немцев загостились... долго... Ума много накопили, нас, дураков, теперь будете учить.

– Брат Леонид десять лет в Швеции прожил, а я двенадцать – в Англии, – с смелою простотою ответил старший, поправляя свои очки.

– Тебя звать-то как?

– Никоном, а по батюшке Зотыч.

– Так... – протянул старик, прищурившись и пожевав губами. – Так я тебе перво-наперво вот что скажу, Никон: не поглянулся ты мне с первого разу. Развязка у тебя не по чину...

– Каков есть...

– Молчать!.. Говори, когда спрашивают, да слушай.

Леонид даже вздрогнул от этого окрика и недоумевающе посмотрел назад, где у ворот боязливо жалась кучка рабочих. Его все смущало: и то, что Федот Якимыч принимает их во дворе, и то, что он не подал им руки, и то, что не пригласил сесть, и то, что он кричит на брата при посторонних. Что же это такое? Он плотно сжал губы и уперся глазами в землю.

Наступила тяжелая пауза. Федот Якимыч разглаживал бороду и жевал губами, а потом резко проговорил:

– Вот што я вам скажу, нехристи: што в шапках-то стоите передо мной, как другие подобные идолы? Не знаете порядков? Я вас выучу! Я вам покажу, как добрые люди на белом свете живут...

Леонид снял свою фуражку, а Никон так и остался в цилиндре, что окончательно взбесило Федота Якимыча. Старик закричал, затопал ногами:

– Я вас в бараний рог согну, нехристи! Вы, поди, и по постным дням скоромное жрете... Обасурманились на чужой стороне вконец. Учить приехали! Я вам покажу свою науку!..

Братья молчали. Никон, закусив губу, смотрел в упор на неистовствовавшего старика.

– Да вы што о себе-то думаете, заморские птицы? – кричал Федот Якимыч, бегая по крылечку. – Шапки не умеете снять, а туда же, по десяти лет учились... Да у меня первый слесарь больше вас знает... Да... Простой мужик... Он всякое дело

обмозгует, а вы хлеб даром ели. Эй, Карпушка, выходи!

Казак Мишка посторонился, давая дорогу Карпушке, который подошел к крыльцу, держа шапку в руках.

– Ну, што, Карпушка, наладил штангу? – спрашивал Федот Якимыч, стараясь говорить ласково. – И действует?

– Действует, Федот Якимыч, в лучшем виде.

– Вот вам у кого учиться надо, – объяснил Федот Якимыч, тыкая пальцем на Карпушку. – Простой мужик, слесарь, а какую штуку удумал... До всего своим умом дошел, а по заграницам не ездил. На три версты машину поставил... Теперь будем его штангой воду из Медного рудника отливать. Молодец, Карпушка, хвалю!

Федот Якимыч сделал знак казаку Мишке, и тот моментально исчез, точно Федот Якимыч им выстрелил. Через минуту он появился в дверях крыльца с подносом, на котором стояла большая старинная рюмка. Федот Якимыч собственными руками подал рюмку Карпушке, а когда тот выпил, расцеловал его из щеки в щеку.

– Вперед старайся, – говорил он, – а главное, не зазнавайся...

Карпушка неожиданно подавился поданной закуской и принялся усиленно кашлять, что опять рассердило Федота Якимыча, и он сурово махнул Карпушке рукой. Машинально дойдя до ворот, Карпушка оглянулся на грозного владыку, на мгновение остановился, а потом вышел на улицу, попрежнему держа шапку в руках. Вся эта комедия с домашним са-

моучкой нарочно была подстроена Федотом Якимычем для вящего посрамления заграничных, – штанга была устроена уже полгода, а Карпушка получил благодарность только сегодня.

– Кто там еще есть? – крикнул Федот Якимыч.

Казак Мишка поочередно начал допускать провинившихся рабочих; бедняги чувствовали, что попали в дурную минуту, и не пробовали даже оправдываться. Первым подошел черноволосый и плечистый обжимочный мастер, прогулявший двое суток.

– В Медный рудник подлеца... – коротко решил Федот Якимыч. – Сгною в шахте...

Следующий номер отправлен был в машинную, где должен был получить двести розог. Третий не успел подойти, как Федот Якимыч ударил его прямо по лицу и заревел, как дикий зверь. Просительницы бабенки даже присели и хотели потихоньку улизнуть, но казак Мишка подмигнул им: дескать, ваша бабья часть особенная. Когда мужики были «рассмотрены», ближайшая баба с причитаниями повалилась Федоту Якимычу в ноги. Мужик умер, трое ребят, а коровы нет.

– Ну, ладно, сирота, устроим, – неожиданно мягким тоном проговорил Федот Якимыч, стараясь загладить добрым делом сегодняшней свой грех. – Будешь с молоком... Убирайся.

Следующая баба просила поправить развалившуюся из-

бенку, и Федот Якимыч тут же решил, что поправлять не стоит, а нужно поставить новую избу. У третьей бабы муж был болен, она получила пособие из конторы. Братья Гордеевы продолжали стоять, но Федот Якимыч намеренно не обращал на них никакого внимания. Леонид машинально тербил свою бородку, а Никон упрямо следил за каждым движением владыки. Когда прием кончился, он молча повернулся и, не простившись, пошел к воротам. Эта новая дерзость совсем обескуражила Федота Якимыча, так что он даже ничего не мог сказать, а только затряслись губы. Что же это такое?.. Да как он смел? У всех на глазах ушел, а сам ни здорово, ни прости...

– Так вот вы какие?! – обрушился он всем своим негодованием на стоявшего без шапки Леонида. – Я вам покажу!.. А ты што стоишь? Шел бы за братом: одной свиньи мясо.

– Я не знаю... – бормотал Леонид. – За брата я не могу отвечать...

– Молчать! Кто тебя спрашивал? И ты бы тоже ушел, кабы у тебя хвост не был привязан... Ушел бы?.. Знаю, все знаю... Немку свою пожалел? Хорошо, убирайся к черту...

А Никон шел по Медной улице в дальний конец спокойно и с достоинством, не обращая никакого внимания на любопытство встречающихся прохожих, которые смотрели на него, как на зверя, и указывали пальцами. В конце улицы, поровнявшись с кабаком, Никон нос к носу встретился с Карпушкой: самоучка-механик, сильно пошатываясь, выходил

из кабака. Узнав Никона, Карпушка остановился, покрутил головой и проговорил заплетавшимся языком:

– Вот те Христос: в первый раз... Никогда и в кабаке не бывал. Эх, жисть!..

Карпушка схватил свой картуз и с ожесточением бросил его оземь.

II

Все время, пока на крыльце происходил утренний прием, в сенях стояла высокая старуха в раскольничьем сарафане. Это была жена Федота Якимыча, Амфея Парфеновна. Она прислушивалась в дверную щель, что делается там, на крыльце, а когда Федот Якимыч затопал ногами на Никона, не утерпела и выглянула, – заграничные ее интересовали. Она их помнила еще детьми и теперь только грустно качала головой, когда Никон «резал» прямо в глаза Федоту Якимычу.

«Этакой бесстрашный! – думала старуха. – Самому-то так и режет... Ах, отчаянный!»

Время от времени дверь из задней горницы отворялась, и неслышными шагами входила круглая, маленькая женщина, объяснявшаяся с Амфеей Парфеновной знаками. Это была немушка Пелагея, игравшая в доме видную роль. Она тоже одета была в косоклинный сарафан из синего изгребного холста с желтой оторочкой на проймах. Взглянув на госпожу своими маленькими серыми глазками, немушка закрывала рот широкою ладонью: она знала в чем дело и успела разглядеть басурманов из своей кухни. Амфея Парфеновна поджимала губы, хмурила густые брови, и немушка так же незаметно исчезала, как появлялась. Это была «верная слуга», воротившая весь дом. На Амфею Парфеновну она про-

сто молилась и по выражению ее глаз угадывала каждую ее мысль.

Когда Федот Якимыч кончил свой утренний прием, Амфея Парфеновна неслышно удалилась в заднюю горницу, где на столе кипел самовар и дымились горячие блины. Старик не любил, чтобы в его дела мешались бабы. Но на этот раз он вошел в заднюю избу веселый и проговорил:

– Ничего, для первого разу достаточно, Феюшка... Носи – не потеряй. Разнес я этих прохвостов во как... Нарродец!..

– Уж очень ты себя-то обеспокоил, Федот Якимыч, – покорно заметила старуха. – Легкое место сказать: горло перекричал. Нестоящие того люди... Обасурманились на чужой стороне вконец...

– А мы их в свою веру повернем... ха-ха!.. Нет, Никашка-то, а? Ловок... И шляпу не снял и ушел не простившись. Идол идолом...

– Левонид-то поскромнее будет... очестливее.

– Оба хороши, Феюшка... Ну, да и мы не через забор лаптем щи хлебаем. Нет, Никашка-то как строго себя оказал... Ха-ха!.. Туда же, амбицию свою соблюдает... А того не знает, што он у меня весь в руках. Хочу с кашей ем, хочу масло пахтаю... Все науки произошел, а начальства не понимает. Ну, да умыкают бурку крутые горки... Я Никашку по первому делу в Медную горку пошлю... Пусть отведает, каково сладко с Федотом Якимычем тягаться.

– Молод еще... – как бы в оправдание Никона заметила

Амфея Парфеновна и сама испугалась собственной смелости. – К слову я молвила, Федот Якимыч, – не бабьего ума дело.

– То-то! – окрикнул жену старик и нахмурился. – Не люблю, штобы курицы петухом пели... Не люблю, вот и весь сказ! Против сердца мне сказала, вот што! Только я отошел было, а ты меня опять подняла. Тьфу!..

– Прости, Федот Якимыч, не от ума сболтнула.

– Дура!

Старик ударил кулаком по столу и молча зашагал по горнице.

Господский дом был устроен по старинке. Собственно, это была громадная изба, разделенная по-крестьянски сенями на переднюю половину и заднюю. В передней половине было всего две комнаты, выходившие на улицу пятью маленькими оконцами. Обстановка здесь устроена по-модному – с кисейными занавесками, мягкой мебелью, коврами, горками с посудой и дешевенькими картинами по стенам. Хозяева бывали в передней половине только при гостях, поэтому она носила нежилой, парадный характер. Задняя половина была устроена по старине, и вместо стульев около стен шли широкие лавки, крашенные кубовой синей краской. Передний угол занят был иконостасом с образами старинного раскольничьего письма, медными складнями и крестами. Здесь теплилась всегда «неугасимая». В особой укладке, прикрепленной к стене, хранились часовник и псалтырь, свечи и ладан.

За этим блюла сама Амфея Парфеновна. Несколько шкафов с посудой, письменный стол у внутренней стены, старинные большие часы на стене, канарейка в клетке, несколько гераней на окнах – вот и все. Дощатой перегородкой, тоже выкрашенную кубовою синею краскою, задняя изба делилась на две горницы, и во второй была устроена спальня, с широкою двуспальною кроватью, перинами, горой подушек, комодами и гардеробом. Когда дети были маленькие, здесь была детская, но дети давно выросли, были пристроены, и старики жили в доме только вдвоем. Собственно говоря, Амфея Парфеновна мало жила в горницах, а при посторонних и совсем не показывалась, – у нее была наверху своя светлица, где все было устроено по ее вкусу. В светлицу сам Федот Якимыч ходил только по спросу, когда Амфея Парфеновна позволит. В горницах была вся воля Федота Якимыча, а в светлице царила одна Амфея Парфеновна.

Светлица походила на моленную. Одна стена была) сплошь уставлена образами, и Амфея Парфеновна сама здесь «говорила кануны» далеко за полночь. Единственною свидетельницею этого домашнего благочестия была немушка Пелагея да разные «странные люди», проникавшие в господский дом никому неизвестными путями и так же исчезающие. В своей светлице Амфея Парфеновна была строга и недоступна, так что ее побаивался и сам Федот Якимыч, покрикивавший на жену у себя в горницах.

– Чаепиец ты и табашник! – карала мужа Амфея Парфе-

новна, входя в свою роль главы дома. – В смоле будешь кипеть потом.

– Ох, буду... – соглашался Федот Якимыч, сокрушенно вздыхая. – Ослабел, Амфея Парфеновна.

Горницы и светлица, таким образом, представляли два различных мира, соприкасавшихся между собой опять-таки ради житейской нужды и слабости. Старики жили по старой вере, хотя Федот Якимыч уже давно «обмирщился». В этом заключалось большое преимущество Амфеи Парфеновны, неукоснительно соблюдавшей древлеотеческие предания. Она в своем раскольничьем мире являлась столпом и крепким оплотом гонимой старой веры и вела обширные сношения с своими единомышленниками. Общественное положение Федота Якимыча как главного управляющего Землянскими заводами заставляло делать постоянные уступки «никонианской злобе», и он как будто всегда чувствовал себя немного виноватым перед женой. Мало ли где ему приходилось бывать самому, а еще больше того принимать в своих горницах никониан: и горный исправник, и протопоп, и разные судейские чины, властодержавцы, начальники и просто нужные люди. В качестве блюстительницы древлего благочестия Амфея Парфеновна держала свое имя грозно, и Федот Якимыч в сущности боялся ее, несмотря на свои окрики и грубые выходки. Это последнее чувство выросло с годами совершенно незаметно, так что и сам крутой старик не давал себе в нем отчета. С другой стороны, Ам-

Фея Парфеновна приобрела большое и решающее влияние в своем старообрядческом мире, так что в важных делах к ней шли за негласным благословением, когда нужно было склонить на свою сторону какого-нибудь нужного милостивца, утишить загоревшуюся никонианскую ярость или устранить вредного человека. Старуха умела сделать все это незаметно и просто, оставаясь в тени. Конечно, успеху дела много содействовало общественное положение жены главного управляющего.

Федот Якимыч был то, что называют самородком. Он вышел в люди исключительно благодаря собственному уму, сметке и чисто крепостной энергии. Заводское добро, заводские интересы и польза стояли для него выше всего на свете, и он являлся неподкупным и верным рабом. Заводовладельцы никогда не заглядывали на свои заводы, проживая то в Италии, то в Париже, и для них такой управляющий, как Федот Якимыч, был кладом. Он уже два раза должен был совершить длинное заграничное путешествие, чтобы повидаться с владыками, – первый раз в Париж, а второй в Неаполь. Эти путешествия оставили после себя известное впечатление. Старик заметно «отшатился» от закоснелого строя своей раскольничьей жизни, по крайней мере душой, хотя и старался этого не показывать. Знала об этой измене одна Амфея Парфеновна и горько скорбела, а затем постаралась извлечь из этого свою, бабью, пользу. Так было и теперь. С заграничными Федот Якимыч устроил тяжелую комедию, что-

бы показать, с одной стороны, свою темную крепостную силу, а с другой – чтобы не выдать себя: втайне он сочувствовал заграничным людям. Это было раздвоенное чувство: с одной стороны, старик отлично понимал великую силу образования, а с другой – ему делалось совестно за собственное крепостное невежество, точно приехавшие молодые люди являлись для него упреком. Он целый день был не в духе и грозой прошел по всем фабрикам, грозой съездил на Медный рудник, грозой явился в громадной конторе, где, не разгибая спины, работали сотни крепостных служащих. Все время из головы Федота Якимыча не выходили эти заграничные, а главным образом – гордец Никашка.

– Ах, и покажу я ему!.. – как-то стонал старик, припоминая картину нанесенного оскорбления. – Колкериного-то жару как раз убавит...

Дома Федот Якимыч ходил туча тучей, так что немушка Пелагея в своей кухне только хмурила брови, что означало, что там, наверху, – гроза. Кучер Антон, горничная девка Дашка, коморник Спиридон, стряпка Лукерья – все боялисьдохнуть. Боже упаси попасть теперь на глаза самой или самому. Больше всего опасность грозила, конечно, девке Дашке, которой приходилось прислуживать в горницах. Это было безответное существо, преисполненное покорного страха и рабьей угодливости. «Хоть бы гости какие навернулись, все бы легче», – соображала девка Дашка, но как на грех и гостей не случилось. То же самое думал и казак Мишка, трепе-

тавший за свою неприкосновенность. Единственная надежда оставалась на ужин в господском доме, – когда не было гостей, ужинали рано, и таким ранним ужином и закончился бы этот тревожный для всех день. Амфея Парфеновна затворилась бы наверху в своей светлице, а Федот Якимыч шагнул бы в парадных горницах, разглаживая бороду и вполголоса напевая стихиру: «Твоя победительная десница...»

Накрывая стол к ужину, казак Мишка и девка Дашка боялись последней беды: а ну, как Амфея Парфеновна не спустится в горницы из своей светлицы? Бывали и такие случаи... Но все разыгралось совершенно неожиданно. Амфея Парфеновна спустилась из светлицы как ни в чем не бывало, села за стол и даже сама налила рюмку анисовки, которую Федот Якимыч выпивал на сон грядущий. Впрочем, за шами не было сказано ни одного слова. Щи были горячие, как любил Федот Якимыч.

– Сказывают, мудреная немка-то у Левонида, – заговорила первой Амфея Парфеновна, нарушая гробовое молчание.

– Ну?

– Дома, слышь, и в люди ходит простоволосая...

– Н-но?

– По-русски ни слова...

– Ах, волк ее заешь!.. Так Левонид-то как же?

– По-ихнему тоже лопочет... Смех один, сказывают. Приданого немка вывезла тоже раз-два, да и обчелся: платьишек штук пять, французское пальто, шляпку с лентами... Толь-

ко она простая, немка-то, и из себя ничего, кабы ходила не простоволосая.

Молчание. Федот Якимыч хрустает прошлогоднюю соленую капусту – любимое его кушанье – и время от времени сбоку поглядывает на жену. Он чувствует себя немного виноватым: погорячился и обругал жену ни за что.

– Так простоволосая? – спрашивает он и улыбается в бороду. – Ах, чучело гороховое!

– Ничего не чучело: она по своей вере и одевается, как там у них, в немцах, бабам полагается. Мы по-своему, а они по-своему... Только оно со стороны-то все-таки смешно.

– Никашка – гордец, а Левонид как будто ничего, – в раздумье говорит Федот Якимыч. – Левонид поочестливее будет...

– А што говорят другие-то про них?

– Да разное... Уехали свои, а приехали чужие, – што тут разговаривать? Видно будет потом.

Опять молчание. Федот Якимыч сосредоточенно хлебал деревянной ложкой молоко из деревянной чашки. Дома старики живут совсем просто и едят деревянными ложками. Для гостей есть и дорогая фаянсовая посуда, и столовое серебро, и салфетки, а без гостей зачем стеснять себя?

– Больно охота мне поглядеть эту самую немку, – неожиданно заявляет Амфея Парфеновна, когда ужин уже кончается. – Не видала я их сроду, какие они такие есть на белом свете...

– Такие же, как и все бабы: костяные да жиленые, – шутливо отвечает Федот Якимыч.

– Ты-то видал, а я нет...

После ужина в светлице шло вечернее богомолье: Амфея Парфеновна читала «канун», а Федот Якимыч откладывал поклоны по ременной лестовке. Немушка Пелагея всегда присутствовала при этой молитве и повторяла каждое движение Амфеи Парфеновны. Она же потом провожала свою «владыку» в спальню и укладывала в постель, – Федот Якимыч приходил потом. Лежа в постели, Амфея Парфеновна все о чем-то думала, а когда пришел Федот Якимыч, она сонным голосам проговорила:

– Ужо как-нибудь в гости немку позову.

– Тоже и придумала! – изумился старик.

– А ежели я не видала?

III

Мысль о немке засела в голове Амфеи Парфеновны гвоздем. Сначала Федот Якимыч посмеялся над этой затеей, а потом нахмурился. Легко сказать, зазвать немку в гости, да еще вместе с мужем, потому что хотя она и немка, а все-таки как ее одну-то в чужой дом привести?

– Не ладно ты удумала, Феюшка, – уговаривал старик жену. – Надо и Левонида звать.

– Што из того, и Левонида позовем. Тебе-то какая причина от того? Уехал на фабрику и все тут... Сына Гришу со снохой позову, а может, и Наташа к тому времени подъедет. Управимся и без тебя...

– Как знаешь, только оно тово... то есть мне-то низко будет Левонида угощать.

– И не угощай, без тебя обойдемся. Уехал бы куда-нибудь на заводы – только и всего.

Осуществление этой мысли заняло весь дом, причем немущка Пелагея даже мычала от удовольствия: пусть матушка Амфея Парфеновна потешит свою душеньку. А хлопоты не велики: всего-то званый обед приготовить. С оказией была послана весточка Григорию Федотычу, который служил управителем в Новом заводе, и дочери Наташе, выданной замуж за купца Недошивина у себя, в Землянском заводе. Стряпка Лукерья, горничная девка Дашка и казак Миш-

ка тоже волновались в ожидании готовившейся комедии, когда в господский дом привезут настоящую немку. То-то будет потеха... Немушка Пелагея уже забегала послом к Гордеевым и только закрывала рот рукой, когда ее спрашивали про немку. Из ее мычания и жестов все понимали только одно, что немка такая же немая, как Пелагея, и это всех смешило.

В назначенный день приехал сам Григорий Федотыч с женой Татьяной. Это был серьезный молодой человек лет тридцати, с окладистой русой бородой и скуластым лицом; он ходил на мать. Сноха Татьяна была городская и ходила в платьях и в шляпках, и Амфея Парфеновна за глаза величала ее модницей. Явилась и дочь Наташа, любимое и балованное детище. В угоду матери она в родительский дом приходила в шелковом сарафане и в платочке на голове. Бойкая и речистая, эта Наташа в своем купеческом быту пользовалась репутацией удалой бабенки, которой пальца в рот не кладут. Муж ей попался простой, притом он «зашибал водкой», и Наташа жила своей вольной волюшкой. Молода была, красива, а грех не по лесу ходит. Впрочем, молва о Наташиных грехах не доходила до господского дома, и Амфея Парфеновна души не чаяла в дочке.

– Чтой-то, мамынька, вы и придумали, – говорила Наташа, щелкая орехи. – Наслышались мы про немку чудес... Ни встать, ни сесть не умеет, а с мужчинами, как с своим братом, так с рукой и лезет. В том роде, как не совсем она умом,

мамынька. Проста уж очень...

– Просто оказать, дура, – коротко отрезал Григорий Федотыч. – А промежду прочим, мамынька, ваша полная воля...

– Уж мне от отца досталось за эту самую немку, – объясняла Амфея Парфеновна. – Пожалуй, и то, што не ладно я затеяла. Хотела и себя и вас потешить.

– Ничего тут худого нет, мамынька, – успокаивала Наташа, – не съест она нас... Посмеемся, и только.

Гордеевы были приглашены вечером, как настоящие гости. Федот Якимыч нарочно уехал в заводууправление, чтобы не встречаться с ними. Амфея Парфеновна заперлась в светлице, а принимать дорогих гостей оставила Наташу. Григорий Федотыч с женой остались в парадных горницах.

– Чтой-то, как они долго, – повторяла Наташа, перебегая от окна к окну. – Вечер на дворе...

– По-заграничному, – язвил Григорий Федотыч. – Нашли важное кушанье... Конечно, я не подвержен к тому, штобы перечить мамыньке, а Левонида Гордеева помню даже весьма превосходно. Мальчишками вместе, бывало, в бабки играли... Сиротами они росли, Гордеевы-то, ну, достатков нет, а в другой раз дома и куска нет. Бывало, украду у мамыньки кусок да Левониду и отдам: на, ешь.

– Мало ли, братец, что бывает, – уклончиво отвечала Наташа, – прежде есть нечего было Гордеевым, а теперь они ученые... Тятенька-то вон как взбуривает на них. А почему? Боится, что сядут ему на шею... Вот послужит, послужит тот

же Никон, да главным управляющим на тятенькино место и сядет. Умница Никон-то, сказывают...

– Пока особенного ума еще не оказал, сестрица, окромя дерзости... Только все это не нашего с тобой ума дело. Родитель получше нас знает...

Гости приехали только в сумерки, часов около девяти, когда немужка стала зажигать сальные свечи в горницах. Наташа встретила их в передней.

– Мамынька сейчас выйдет, – объясняла она, нарочно обращаясь к непонимавшей ничего немке. – Пожалуйста...

Когда немка сняла свое французское пальто, Наташа так и ахнула: она была в каком-то детском кисейном платье, с голубою широкою лентою вместо пояса. Руки выше локтя были голые. Белокурые волнистые волосы были подвязаны такою же голубенькою ленточкой, и только. Всего больше изумило Наташу короткое платье. «Вот бесстыдница!» – невольно подумала Наташа, целуясь с гостьей. Сам Гордеев заметно смутился и отвечал за жену. Он, правда, заметно повеселел, когда увидел Григория Федотыча и узнал его.

– Милости просим, – пригласила Наташа, усаживая немку на диван. – Мамынька сейчас выйдет...

Немка осматривала своими большими серыми глазами парадные горницы с каким-то детским любопытством, потом переводила глаза на мужа и улыбалась. У ней было такое красивое и нежное лицо, с тонким профилем и алыми губками. Когда она улыбалась, два ряда белых зубов так и сверкали.

ли. Небольшого роста, стройная, гибкая, подвижная, она казалась красавицей. Когда немужка Пелагея подала чай, немужка осмотрела чашки, сахарницу, поднос и опять засмеялась.

– Какая она у вас веселая, Левонид Зотыч, – заметила Наташа.

– Амалия совсем ребенок, – уклончиво ответил Гордеев и что-то сказал жене по-немецки.

Она засмеялась уже совсем весело, бросилась Наташе на шею и расцеловала ее прямо в губы. Григорий Федотыч все время молчал и все посматривал на дверь, в которую должна была войти мать. Амфея Парфеновна появилась настоящей королевой. Девка Дашка забежала вперед, чтоб отворить дверь, и старуха вошла с медленной важностью. Она была в тяжелом парчовом сарафане и в жемчужной сорочке. Немужка быстро поднялась с места и сделала реверанс. Это окончательно рассмешило всех, а Наташа так и прыснула.

– Здравствуй, милашка... – ласково заговорила Амфея Парфеновна и поцеловала гостью плотно сжатыми губами. – Садись, так гостя будешь.

– Жена очень рада познакомиться с вами, Амфея Парфеновна, – ответил за жену Гордеев. – К сожалению, она пока еще не умеет говорить по-русски...

– Ничего, пусть говорит по-своему, по-немецкому, – милостиво заметила старуха, оглядывая выставившиеся из-под платья немужкины ноги. – Как ее звать-то у тебя, Левонид?

– Амалия Карловна.

– Так... Мне-то и не выговорить сразу. Славная бабочка, хоть немка...

Немку больше всего заинтересовал сарафан хозяйки, и она долго его рассматривала, разглаживая белую пухлую ручкою тяжелую старинную материю и золотой позумент. Эта наивность и доверчивая простота очень понравилась старухе.

– Жена уж начинает учиться по-русски, – объяснял Гордеев.

– Чи!.. – весело заговорила немка и засмеялась.

– Она хочет сказать: «щи», – опять объяснил Гордеев.

– Чи... чи! – лепетала немка.

Все весело засмеялись, и сама Амфея Парфеновна тоже. Очень забавна эта немка: и простоволосая и ноги чуть не до колен выставляет. Когда подали закуску, она, не дожидаясь приглашения, первая подошла к столу и сама налила себе рюмку вина. Гордеев что-то сказал ей, но Амфея Парфеновна заметила ему:

– Оставь ее, Левонид... наших порядков она не знает. Я и сама с ней пригублю рюмочку... Гриша, а ты что же?

Мужчины выпили водки и закусили балыком. Григорий Федотыч сразу отмяк и стал расспрашивать Гордеева, где он учился, как живут немцы и что они думают делать. Давешней неловкости как не бывало, особенно когда выпили по второй. Амфея Парфеновна увела гостью в заднюю половину, чтобы там осмотреть ее на свободе. Наташа и сноха Татьяна

пошли за ними. Особенно развеселилась Наташа и все приставала к немке, чтобы та сказала: «чи». Смеялась и немущка Пелагея, девка Дашка и сама немка.

– Ей только с нашей Пелагеей разговаривать, – говорила Амфея Парфеновна, бесцеремонно оглядывая гостью с ног до головы. – Зачем ты, милушка, ручки-то оголила? Нехорошо это при посторонних мужчинах, да и платье-то подлиннее бы сделать...

В задней половине последовало новое угощение: варенье, орехи, пряники, конфеты. Но немку занимала больше всего обстановка комнат, и она по-ребячьи осмотрела каждый уголок. Заметив двуспальную кровать, она кокетливо покачала головой.

– У них, мамынька, мужья и жены в разных комнатах спят, – объяснила Наташа. – Все равно как чужие люди... Вот ей и удивительно.

– А славная бабочка... – повторяла Амфея Парфеновна. – Хоть куда... А ежели бы ее нарядить в сарафан, да косу заплести, да кокошник – лучше не надо.

Гордеев и Григорий Федотыч пристроились к закуске и вели оживленную беседу.

– Тяжело вам будет здесь, – говорил Григорий Федотыч. – Главное, что непривычное ваше дело, а у нас на все свои порядки...

– Привыкнем помаленьку... Только вот Федот Якимыч как-то странно отнесся к нам. Я совсем не понимаю, на что

он рассердился тогда на нас с братом. . .

За этими разговорами молодые люди совсем не заметили, как вошел сам Федот Якимыч. Он остановился в дверях и подозрительно оглядел комнату. Первым заметил его Григорий Федотыч и почтительно вскочил.

– Здравствуйте, тятенька.

– Здравствуй.

Гордеев поклонился издали и ждал. Грозный старик отдал картуз казаку Мишке, еще раз оглядел свои горницы и проговорил ласково:

– Ну, здравствуй, Левонид Зотыч.

– Здравствуйте, Федот Якимыч.

– Садись, так гость будешь, – пригласил его старик. – В ногах правды нет, как говаривали старинные люди. . . Мишка, анисовой!

Григорий Федотыч продолжал стоять, потому что не получил приглашения садиться. Старик не любил баловать детей, и если пригласил сесть Гордеева, то только потому, что, во-первых, чувствовал себя немного виноватым перед ним, а во-вторых, – женатый человек, не следует его по первому разу срамить перед женой. Выпив рюмку анисовки и закусив соленым рыжиком, Федот Якимыч посмотрел на гостя уже совсем ласково и даже улыбнулся.

– Ты у меня теперь гость, Левонид, и разговор у нас будет другой, – заговорил старик, улыбаясь. – Подвернешься под руку, не взыщи, а гостю первое место и красная ложка. . . Эй,

Мишка, анисовой!

После второй рюмки старик заалел и взглянул на двери в сени. Он сегодня был в хорошем расположении духа и казался таким важно-красивым, что даже Гордеев полюбовался им.

– Покричал я тогда на вас с братом, – объяснял он. – Горденек Никон-то, хоть и брат тебе доводится. Из одной печи, да не одни речи... Ну, да ничего, авось помиримся. Так я говорю?

– Совершенно верно, Федот Якимыч...

– Крут я сердцем, да отходчив, Левонид. Да... Ты мне поглянулся с первого разу, а что я посердитовал тогда, так не всякое лыко в строку. Гриша, садись, чего столбом-то стоять?

Старик совсем развеселился и выпил еще третью рюмку, что с ним редко случалось. У Гордеева тоже отлегло на душе. Они сидели у закуски и беседовали. Федот Якимыч рассказывал, как он начал свою службу рассылкой в конторе, сколько натерпелся, пока поступил в писцы, как работая день и ночь, не покладаячи рук, и как ему трудно и посе́йчас, потому что приходится отвечать за всех остальных служащих. Но в середине рассказа он вдруг остановился, посмотрел на входную дверь и бессильно опустил руки: в дверях стояла немка и смотрела на него своими детскими серыми глазами. У старика точно захолонуло на душе: он как во сне видел это кисейное белое платье, голубую ленту, распущенные бе-

локурые волосы.

– Да ты хоть поздоровайся с гостьей-то, – заметила Амфея Парфеновна. – Она веселая бабочка...

Федот Якимыч с удивлением перевел глаза на жену и только сейчас заметил, какая она старая и безобразная: лицо обрюзгло, глаза злые, фигура опустившаяся. Он поднялся с своего места, сделал шаг вперед, чтобы поздороваться с гостьей, но только махнул рукой и, пошатываясь, пошел из горницы к себе на заднюю половину.

IV

Гордец Никашка попал в Медный рудник и с блендочкой [Блендочка – рудниковый фонарь. (Прим. Д.Н.Мамина-Сибиряка.)] на поясе спускался по стремянке в шахту каждое утро вместе с другими рабочими. Он не роптал, не жаловался и вообще не подавал вида, что это ему не нравится. Крепкий был человек, с английской складкой характера. На первый раз ему дали производить съемку новых работ в шахте, что уже совсем не соответствовало его специальности. Но и на этом чужом для него деле Никон сумел так себя поставить, что и рудниковые рабочие и рудниковые служащие отнеслись к нему с большим уважением, как к своего рода начальству. Он и по заводу не стеснялся ходить в костюме простого рабочего – в белом балахоне, запачканном желтою рудниковою глиною. Когда били в четыре часа утра на поденщину, он шел в рудник, но не спускался в шахту, пока не выходило время по его часам, то есть получасом позже других рабочих. Конечно, о таком своевольстве донесено было Федоту Якимычу, который опять рвал и метал, но ничего поделать не мог.

– Он у меня всех рабочих перебунтует! – орал старик. – Да я его в цепи закую, коли на то пошло!

Но это была пустая угроза. Никон мог пожаловаться горному исправнику на неправильное отбивание часов, и Фе-

дот Якимыч только скрежетал зубами! И выходил из шахты Никон тоже получасом раньше, чем другие рабочие. Но что больше всего возмущало Федота Якимыча, так это то, что Никону приходилось каждый день четыре раза проходить по Медной улице мимо господского дома. Утром еще ничего, все спали, а среди белого дня это хождение было Федоту Якимычу нож острый, – все пальцами указывали на Никашку, и все ему сочувствовали, хотя открыто и не смели высказывать этого сочувствия.

«Вот навяжется этакой сахар!» – ругался про себя старик.

Это пустое в сущности обстоятельство отравляло ему каждый день. Когда наступал час рабочего обеда, Федот Якимыч заметно начинал волноваться и, притаившись у окна, поджидал, когда пройдет Никашка. Вечером это волнение усиливалось еще более, потому что Никашка шел с работы на полчаса раньше и этим обличал крепостную хитрость главного управляющего, воровавшего у рабочих по получасу.

– Нет, он из меня душу вымотает, Феюшка, – жаловался старик жене. – Ведь все видят, как он вышагивает, разбойник.

– Ну, и пусть его шагает. Тебе-то какая печаль? – успокаивала мужа Амфeya Парфеновна. – Ежели он не хочет покориться, так и пеняй на себя...

– А другие-то меня завинят, Феюшка... Скажут, живого человека в шахте гною. Ну, да мне плевать!..

Федот Якимыч сделался не в меру подозрительным и в каждом постороннем взгляде видел упрек себе, хотя в глаза никто и ничего не смел ему говорить. Но наступил час, когда старик услышал и обличающее слово, и притом от кого? – от родной дочери. Раз утром приехала Наташа, такая взволнованная и расстроенная, и прямо заявила отцу:

– Тятенька, что же это вы такое делаете с Никоном-то? Креста на вас нет... да. Все на вас судачат, зачем Никона в шахте гноите.

– Да ты... ты-то откуда заступницей выискалась? – грянул на нее старик. – Да как ты смеешь, негодная?.. Да тебе-то какое дело, а?

Федот Якимыч даже затрясся от охватившего его бешенства и по обыкновению затопал ногами, но Наташа и не думала уступать отцу, а тоже вся тряслась и продолжала свое:

– Должен же кто-нибудь сказать вам правду, тятенька, – ну, вот я и сказала... Другие-то боятся, а я вот взяла и сказала. И не боюсь я вас вот нисколечко...

На шум и крик спустилась из своей светлицы сама Амфея Парфеновна и только развела руками. Положим, и раньше Наташе случалось перечить отцу, – смелая уж такая уродилась, – да все-таки не так, как сегодня: точно белены объелась баба. Так на стену и лезет.

– Да ты ополоумела в сам-то деле? – накинулась на нее Амфея Парфеновна. – Кому ты зубишь-то, Наталья?.. Вот возьму лестовку, да как начну обихаживать...

– Было ваше время, мамынька, учить-то меня, а теперь у меня муж есть, – с дерзостью отвечала Наташа. – Вот вам некому правды-то сказать, потому как все вас боятся... да. А я вот пришла и сказала тятеньке все...

– Ах ты, дрянь! – взъелась старуха. – Да тебе-то какое дело до Никашки, срамница? Вот еще заступа нашлась... Спустить вот в шахту к Никашке: два сапога – пара. Больно зубы-то у вас долгие...

– Мать, оставь! – закрикнул Федот Якимыч, успевший опомниться. – Не тронь ее: не от ума болтает человек...

Это неожиданное доброе слово точно придавило Наташу, – она сразу затихла, смутилась и опустила глаза. Старик знаками выслал жену из горницы, прошелся несколько раз, потом быстро повернулся к дочери, обнял ее и шепотом спросил:

– Наташа, Христос с тобой, что ты говоришь?

Наташа бессильно припала своею красивою русою головкою к широкому отцовскому плечу и как-то по-детски всхлипывала.

– Наташа, что с тобой попритчилось?

– Тятенька, родимый, жаль мне Никона... до смерти жаль. Не могу я видеть, как он по заводу ходит рабочим. Так бы вот бросилась к нему, сняла с него все грязное, надела все и сама бы руки ему вымыла.

– Да ты познакомилась с ним, што ли? Ну, говори...

– Только издали и видала, тятенька... Гордый он, умни-

ца... Не томи ты его, тятенька: в ножки поклонюсь.

Федот Якимыч ничего не пообещал, как ни молила его Наташа, и ничего не сказал жене: ему не по душе пришлась горячая выходка любимой дочери. И гордая она, и добрая, и вся огонь – вся в него. Был один момент, когда он усомнился в ней: не попутал ли ее бабьим делом грех, но этого не оказалось, и старик успокоился. А все-таки нельзя Никашке спускать, – пусть его походит с блендочкой. После сам спасибо за науку скажет... Амфея Парфеновна зато была огорчена поведением Наташи до глубины души, но по своей материнской логике сейчас же во всем обвинила Наташина мужа, который не умел держать жену в руках. Вот она и блажит. Хорошо, что пришла к отцу с матерью, а домашний срам дома же и изнашивается. У старухи все-таки осталось какое-то темное предчувствие неизвестной беды, которую привезли с собой вот эти самые басурманы.

«Хорошо еще, что Левонида в Новый завод избыли, – подумала в заключение Амфея Парфеновна, припоминая то впечатление, которое немка произвела на Федота Якимыча. – Приворотная гривенка эта немка...»

Леонид Гордеев был определен на службу в Новый завод, под начало Григорию Федотычу. На сына старик надеялся вполне: потачки не даст, хотя и вместе ребятами в бабки играли. Тяжелая рука была у Григория Федотыча, пожалуй, потяжелее родительской, только он разговаривать много не любил, – характером нашибал больше в мать. Чтобы выдержать

свою политику, Федот Якимыч определил Леонида в бухгалтерию, то есть не по его специальности, как и Никона. Пусть чувствует, что в его науке никто не нуждается: и без него жили, и при нем проживут. В отместку Никону заводоуправлением Леониду дано было сразу место служащего, с жалованием в двадцать рублей, что составляло уже целое богатство по сравнению с рабочей поденщиной Никона. Федот Якимыч хотел достигнуть гордеца Никашку не мытьем, так катаньем.

Молодые Гордеевы сразу устроились хорошо в Новом заводе. Завод был небольшой, служащих мало, и все дело вел Григорий Федотыч, сразу наваливший на Леонида кучу канцелярской заводской работы. Впрочем, Леонид и сам был рад, что дорвался хоть до какого-нибудь дела, а то целых полгода он проживал в Землянском заводе совсем без занятий, что томило его хуже всякой работы. И на квартире Гордеевы устроились прекрасно, именно: у заводского попа Евстигнея, который жил в большом господском доме только вдвоем с своей попадьей Капитолиной. Это была оригинальная парочка. Поп был высокий, волосатый, худой и молчаливый человек, вечно шагавший из угла в угол, как маятник, а попадья, красивая и молодая женщина, совсем не умела молчать. Детей не было, и поп с попадьей обрадовались квартирантам, как дорогим гостям, особенно говорунья-попадья. Под ее руководством немка быстро научилась говорить по-русски, так что даже Леонид только удивлялся успехам же-

ны.

– У меня мертвый заговорит, – хвасталась попадья. – Чего бабам и делать, как не разговоры разговаривать?.. Да и немочку твою, Леонид Зотыч, я полюбила сразу, ровно бы вот родную сестру. Только вот одного не может выучить: чи, и кончено. Точно вот примерзло это самое слово у ней к языку...

– Я уж не знаю, как вас и благодарить, Капитолина Егоровна, – повторял Гордеев.

– Как-нибудь авось сочтемся...

Новозаводская попадья славилась как развертная бабенка. Сам Федот Якимыч любил завертывать к ней в гости: и квасом напоит таким, что в нос ударит, и на гитаре сыграет, и песню споет, и наговорит с три короба. Одним словом, на все руки попадья. А уж как она пела, эта самая попадья, – до слез доведет, как зальется. И все-то у ней смешком, да шуткой, да уверткой, точно вот на огне горит.

– Где ты такая и зародилась, Капитолинушка? – бывало, пошутит Федот Якимыч, хлопнув попадью по крутому белому плечу. – Хоть бы и не попу такую жену, так в самую пору...

– И то не по чину досталась попу попадья, – отшучивается Капитолина Егоровна, ласково поглядывая на дорогого гостя. – Кому уж какое счастье на роду написано, Федот Якимыч. От судьбы не уйдешь...

Выговорит попадья такое словечко и сама легонько вздох-

нет. А поп все шагает из угла в угол, как журавль по покосу, и все молчит да бороду свою теребит. Он с гостями двух слов другой раз не скажет. Федот Якимыч не приезжал в Новый завод без того, чтобы не привезти попадье гостинца – то шелковый платок, то ситцу на платье, то меду или яблоков. Вместе с гостинцами старик всегда привозил попадье поклон от Наташи. А сама Наташа, когда приезжала погостить в Новый завод к брату, все время проводила в поповском доме, где и ночевала. Брата Григория Федотыча она не любила, как и сноху Татьяну, – скучные они какие-то. С попадьею Наташа и спала на одной кровати, а попа выдворяли в это время в дальнюю угловую комнату.

– Хохлатый он у тебя какой-то, – повторяла Наташа в припадке откровенности. – Как ты и живешь с ним.

– А мне хорош, – смеялась попадья.

– Нашла тоже сокровище...

Через Наташу попадья знала решительно все, что делалось в Землянском заводе, и пользовалась этим, чтобы подтравить иногда Федота Якимыча.

Месяца через два по переезде Гордеевых в Новый завод прилетела туда и Наташа. Попадья просто не узнала ее: скучная такая да молчаливая, точно в воду опущенная. Она, против обыкновения, ничего не рассказывала, а только дразнила немку, так смешно коверкавшую русские слова. Вместо «корова» Амалия Карловна говорила «говядина», оглобли называла жердями и т. д. Попадье на первый раз показалось,

что Наташа просто приревновала ее к немке, и только улыбалась про себя. День кончился тем, что Наташа капризничала и даже кричала на попадью, а потом вдруг затихла и принялась уговаривать попадью спеть ее любимую песню: «Не взвивайся, мой голубчик, выше лесу, выше гор».

– Голубушка, родная, спой! – умоляла она. – Ох, тяжело мне... тошно.

– Да что случилось-то, говори толком?

– Все будешь знать, скоро состаришься.

Вечером поп Евстигней, по обыкновению, шагал из угла в угол. Попадья уселась на диване с гитарой и пела любимые Наташины песни, а сама Наташа слушала и плакала. Под конец она не выдержала и рассказала все, как на духу.

– Капочка, родная, сама я не своя... – каялась Наташа. – Точно вот громом меня оглушило: ничего не понимаю, ничего не слышу и не вижу. Ты говоришь, а я не понимаю ничего... И как это все случилось?..

– Поп, ты бы вышел, – говорила попадья, предчувствуя интимное объяснение. – Мы с Наташей мало ли что болтаем промежду себя.

Поп покорно хотел выйти, как Наташа остановила его:

– Не уходи, поп: все равно ничего не поймешь... И таиться мне не от кого: мой грех – мой и ответ. Вся тут... Капочка, полюбился он мне, ворог мой лютый, и сама не знаю как и за што. Даже не заговаривала с ним ни единого разу, а все только думаю о нем да про себя ласковые слова наговариваю...

Вот как крепко полюбился, што ни крестом, ни пестом не оторвешь его. Ах, пропала моя головушка, Капочка...

– Да кто он-то, обворожитель-то твой? Не говори, сама знаю: гордец Никашка... Слышала мельком, сорока на хвосте принесла. Только я тебя не похваляю, Наташа... Непутевое это дело мужней жене...

– Не понимаю я, ничего не понимаю! – повторяла Наташа, закрывая глаза, как подстреленная птица. – Не искала я его, сам пришел да против самого сердца и встал. Ох, головушка моя!..

V

Прошел год. Жизнь вошла в обычную колею. Леонид Гордеев попрежнему служил бухгалтером и мало-помалу втянулся в свою служительскую лямку. Это был трудолюбивый и скромный человек, сумевший приспособиться к новой среде. Только временами на него нападали минуты тяжелого раздумья и какой-то апатии: он был не на своем месте. Кроме того, из-за канцелярской работы он не имел свободного времени, чтобы пополнять свое образование. Да и книг не было, и даже газет, – на двадцать рублей не далеко ускачешь. А ведь время идет... Через пять лет такой канцелярщины какой может быть из него горный инженер? Придется начинать с аза... Но больше всего Леонида мучило то, что он – крепостной человек, следовательно, не имеет никаких прав. Постепенно эта мысль сделалась его больным местом. Да и не он один крепостной, а и жена и будущие дети... Нет, даже страшно подумать! Мысль невольно уходила назад, в тот свободный мир, где нет крепостных и рабовладельцев, а царит свобода. Да, золотая свобода... Не раз у Леонида мелькала мысль о бегстве в Швецию, – там он нашел бы себе работу и устроился бы, как все свободные люди. Он, как сквозь сон, видел страну гор, лесов и озер, где прошли лучшие годы. Там он учился, там работал, там в первый раз увидел белокурую девичью головку с этими детски-доверчивыми гла-

зами. Это была семья шведского горного инженера, где он был принят, как свой человек. Ведь живут же люди по-человечески, работают, веселятся и не знают, что такое неволя, рабство, позор. С каким хорошим чувством Леонид возвращался на далекую родину, и какие гордые мечты он вез с собой! Он уже видел впереди святое дело, громадный труд, процветание целого заводского округа, успехи и триумф, — а все дело свелось на грязную контору и проклятые конторские книги.

Единственным утешением оставалась своя собственная семья. Леонид отдыхал только у себя дома и был счастлив. Но и это счастье было нарушено. Что случилось, Леонид не мог бы и сам сказать, но что-то случилось. Между ним и женой легла непрощенная тень, то первое недовольство, которое не объясняется словами. Амалия Карловна быстро выучилась русскому языку и с чисто женскою ловкостью приспособилась к новой обстановке и к новым людям. Часто, вглядываясь в жену, Леонид находил в ней что-то новое, ему незнакомое, точно это была другая женщина. Прежде всего ему казалось, что она перестала быть с ним откровенной, как раньше, и чего-то не договаривает, а затем... а затем, что она тоже в свою очередь открыла в нем совсем, совсем другого человека. Потерялся искренний, дружеский тон, и начиналась чувствоваться житейская гнетущая фальшь, покрывавшая ржавчиной каждую мысль, каждое движение. Раз Амалия Карловна спросила мужа:

– Послушай, Леонид, ведь я тоже крепостная?

– Кто это тебе сказал?

– Все равно, я знаю... Ведь рабство – ужасная вещь, и если б у нас были дети, они родились бы тоже рабами. Я не подозревала этого.

– И я тоже не думал, что меня оставят крепостным. Но ведь это все равно: тебя, кажется, никто не притесняет, и ты живешь, как свободная женщина.

– Да? А ты думаешь, мне легко смотреть на твое зависимое положение? Разве я не понимаю, что все это значит?

– Милая, я тоже отлично понимаю, и если не говорю об этом, то только потому, чтобы напрасно не тревожить тебя. Словами делу не поможешь... Будет время, когда и мы будем вольны.

Амалия Карловна только вздыхала.

Расставшись с братом Никоном еще в детстве, Леонид встретился опять с ним в Земляном заводе, как чужой человек. Это чувство сгладилось только под давлением общего несчастья. Оно их сблизило. Да и с кем было отвести душу, когда кругом царил огульное невежество и кромешная тьма? Заводские служащие образования никакого не получали и, кроме своих заводских дел, ни о чем не хотели знать. В этой среде положение Леонида было самое фальшивое: к нему относились, как к чужому, и заметно старались избегать его, да и сам он не искал поводов для сближения. Единственное, что оставалось, – это брат Никон. И старшинство

лет и непреклонная энергия Никона давали ему известный перевес. Время от времени Леонид уезжал в Землянский завод, чтобы повидаться с братом, и каждый раз возвращался оттуда таким бодрым, с новым запасом сил, точно молодец на несколько лет. Никон все еще ходил с блендочкой и, по видимому, нисколько не тяготился своим положением. Чем хуже его другие рабочие? Он желает быть таким же, и только. Да, он ест свой трудовой хлеб, а там увидим.

– Мы еще тряхнем Федотом Якимычем, – говорил Никон с обычным спокойствием, посасывая коротенькую английскую трубочку.

– Меня удивляет только одно, Никон, – отвечал Леонид, – ты говоришь об этом звере таким тоном, точно он тебе нравится.

– А что же? Ты, пожалуй, и угадал. Мне старик действительно нравится, нравится именно выдержкой характера. Посмотри, как он систематически давит нас с тобой... Это, брат, настоящая сила, только дурно направленная; а я люблю всякую силу. Решительно Федот Якимыч мне нравится... В нем есть кровь.

Никон жил в Землянском заводе, вместе с матерью, в отцовском старом домике. Обстановка была самая бедная, почти нищенская, но Никон ничего не хотел замечать и довольствовался малым. Даже свою камлотовую шинель и цилиндр он забросил и стал ходить летом в татарском азяме, а зимой – в нагольном полушубке, – так было удобнее. Если кто жа-

ловался и постоянно скорбел, так это старуха Анна Гавриловна, постоянно болевшая своим материнским сердцем за детей. В сущности это была забитая и тихая старушка, прошедшая слишком тяжелую школу. Она могла только плакать бессильными слезами и во всем слепо повиновалась Никону, на которого молилась.

– Погоди, мать, будет и на нашей улице праздник, – говорил Никон в веселую минуту. – А Федота Якимыча мы узлом завяжем, да...

Никто так весело не умел смеяться, как Никон, хотя это случалось с ним очень редко, – точно солнце осветит, когда он улыбается. Так смеялся Федот Якимыч, – у них была эта общая черта. Намеки Никона на то, что он что-то устроит главному управляющему, ужасно беспокоили старуху мать, и раз она по секрету сообщила свои опасения Леониду.

– Устроит он, Никон-то, как пить даст, – шепотом говорила она, хотя в комнате никого не было. – Знаешь, какой у него характер? Бесстрашный он... В кого, подумаешь, и уродится такой человек!

– Ничего, мать, и так сойдет, – успокаивал Леонид. – Мало ли сгоряча что говорится.

У Никона действительно был замысел, хотя, повидимому, он ничего и не делал. Правда, за ним был устроен негласный дозор, и каждый шаг его был известен Федоту Якимычу. Единственное, что он позволял себе, это то, что он выходил на работу позже получасом и настолько же уходил рань-

ше. Сначала рабочие шутили над заграничным и потихоньку ждали, что сделает с ним Федот Якимыч, а когда тот оказался бессильным, рабочие догадались, в чем дело. Переговоры, глухой ропот и шептанье по углам разрешились открытым бунтом, то есть, когда ударили поденщину, никто из рабочих не шевельнулся. Только когда пришел Никон, вышли и рабочие. Это ничтожное в своей сущности событие подняло на ноги все крепостное начальство, а сам Федот Якимыч приехал на Медный рудник в сопровождении горного начальника и горной стражи.

– Где бунтовщики? – кричал Федот Якимыч, не вылезая из экипажа. – В остроге сгною!.. Запорю!..

Рабочие были подняты из шахты и выстроены в две шеренги. Бунтари представляли из себя очень жалкий вид. Желтые, изможденные, они точно сейчас только были откопаны из земли, как заживо похороненные покойники. В числе других стоял и Никон, выделявшийся и ростом и крепким сложением.

– Не ладно поденщину отдают, – слышался из толпы робкий голос.

– А, поденщину? – заревел Федот Якимыч. – Кто это сказал? Выходи!

– Действительно, неверно, – ответил смело за всех Никон. – На целых полчаса раньше... Это не по закону. И с работы отпускают получасом позже...

– А, так это ты? – обрадовался Федот Якимыч. – Давно я

добирался до тебя, голубчик... Казаки, берите его и ведите его ко мне в дом. Там мы поговорим.

Казаки подхватили Никона под руки и повели в господский дом, а Федот Якимыч остался для окончательной расправы на руднике. Когда Никона вели по Медной улице, из всех окон выглядывали любопытные лица и сейчас же прятались. А Никон шагал совершенно спокойно, точно шел в гости. Около господского дома толпился народ, когда привели Никона и поставили во дворе перед красным крыльцом. Он оставался невозмутимым попрежнему. В эту минуту на крыльцо торопливо вышла Наташа.

– Никон Зотыч, пожалуйста в горницы, – смело пригласила она. – А казакам подадут по стакану водки в кухне... Эй, отпустите его!

Казаки расступились, – все знали в лицо дочь главного управляющего. Никон спокойно посмотрел через очки своими близорукими глазами на неизвестную ему женщину и спокойно поднялся на крыльцо. Наташа стояла перед ним такая молодая, красивая, взволнованная и счастливая. Она была сегодня в красном шелковом сарафане и в белой шелковой рубашке. Опустив глаза, она шепотом проговорила:

– Пожалуйста в горницы...

Никон молча пошел за ней. Когда вошли на парадную половину, он огляделся кругом, оглядел стоявшую перед ним молодую женщину и спокойно спросил:

– А вы-то кто такая будете, сударыня?

– Я-то... дочь Федота Якимыча, а зовут меня Наташей, – смело ответила Наташа и первая протянула руку гостю. – Садитесь, гостем будете...

– Вы здесь живете?

– Нет, я отдельно... Я замужняя.

– А я думал, что вы девушка...

– Какой вы смешной!.. У девушек коса бывает...

Никон сел на первый стул, заложил ногу на ногу и раскурил свою трубочку. Наташа молчала и только поглядывала на него исподлобья своими бархатными глазами.

Можно себе представить изумление Федота Якимыча, когда он явился домой для расправы с гордецом Никашкой. Казак Мишка еще за воротами доложил ему, что Никон сидит в горнице и курит трубку. Старик точно остолбенел, а потом быстро вбежал на крыльцо, распахнул двери в горницы, да так и остановился, как только взглянул на Наташу.

Вот это чья работа!..

– Трубку-то, трубку проклятую брось, басурман! – закричал он, топая ногами. – Ведь образа в переднем углу, нехристь, а ты табачищу напустил...

Никон поднялся, сунул трубку в карман и с любопытством посмотрел на хозяина.

– Тятенька, после успеешь обругаться, – вступилась Наташа, – а Никон Зотыч наш гость. Я его позвала сюда.

– Ты?.. Наташа, да ты с меня голову сняла, – застонал старик, хватаясь за свои седины. – Бунтовщик... смутьян... а ты

ведешь его в горницы! Да ему в остроге мало места... Рабочих перебунтовал, сам поклониться не умеет порядком. Что же это такое?

– Никон Зотыч правильно делал, – ответила Наташа. – Вы обманывали рабочих поденщиной, а он справедливый...

– Я никого не бунтовал, Федот Якимыч, – проговорил Никон своим обыкновенным тоном. – Вы сами знаете, что это так...

Федот Якимыч повернулся к дочери и повелительно указал на дверь. Она без слова вышла. Никон продолжал стоять и в упор смотрел на старика, который порывисто ходил по комнате, точно хотел угомонить какую-то мысль.

– Ты, гордец, чего столбом-то стоишь? – крикнул на него Федот Якимыч, круто повернувшись лицом. – Порядков не знаешь...

Никон сел и заложил по привычке ногу за ногу, а Федот Якимыч принялся бегать по горнице. Изредка он останавливался, быстро взглядывал на Никона, что-то бормотал себе в бороду и опять начинал ходить. Наконец, он устал, расстегнул давивший шею воротник ситцевой рубахи и остановился. Посмотрев на Никона одно мгновение, он быстро подошел к нему, крепко обнял, расцеловал прямо в губы и проговорил:

– Люблю молодца за обычай... А теперь убирайся к черту, да смотри, на глаза мне не попадайся, коли хочешь быть цел.

VI

Леонид очень беспокоился о судьбе Никона, когда стороной услышал о происходившем на Медном руднике бунте. В участии Никона он не сомневался, а потаенная крепостная молва разнесла, что он арестован и содержится под стражей. Правильной почты между заводами не существовало, а ссылаться приходилось при оказии. Да и писать брату Леонид не решался, потому что письма могли перехватить и тогда досталось бы по пути и ему.

Раз летним вечером, когда Леонид заканчивал какую-то работу в своей конторе, к господскому дому, где жил Григорий Федотыч, сломя голову прискакал верховой. Все служащие переполошились: это был «загонщик», ехавший впереди самого Федота Якимыча. Эти поездки главного управляющего с завода на завод обставлялись большою торжественностью: впереди летел загонщик, за ним на пятерке с фореитором мчался тяжелый дорожный дормез, а позади дормеза скакали казаки горной стражи и свои заводские лесообъездчики. Так было и теперь. По случаю хорошей погоды дормез был открыт, и в окна заводской конторы можно было рассмотреть, что Федот Якимыч сидел рядом с каким-то высоким господином в цилиндре, а на козлах рядом с кучером сидел изобретатель штанговой машины Карпушка.

– Да ведь это Никон! – крикнул кто-то из служащих. – Он

самый... Рядом с Федот Якимычем сидит. Вот так фунт!

Острый рабий глаз не ошибся: Федот Якимыч приехал в Новый завод действительно в сопровождении Никона и Карпушки. Старик был в веселом настроении и, не вылезая из экипажа, проговорил, указывая глазами на Карпушку:

– Отвяжите этого подлеца да пусть протрезвится в машинной.

Изобретатель Карпушка действительно был привязан к козлам, потому что был пьян и мог свалиться. Он так и не просыпался с тех пор, как выпил большую управительскую рюмку из собственных рук Федота Якимыча. Его развязали, сняли с козел, встряхнули и повели в контору, где «машинная» заменяла карцер (свое название это узилище получило от хранившейся здесь никуда негодной, старой пожарной машины). Сделав несколько шагов, Карпушка неожиданно вырвался, подбежал к экипажу и хрипло проговорил:

– Федот Якимыч, родимый... одну рюмочку... совсем розняло...

– Ах ты, ненасытный пес! – обругался старик, но велел подать рюмку.

Григорий Федотыч был на фабрике, и гостей приняла одна сноха Татьяна, трепетавшая в присутствии грозного свекра.

– Ну, принимай дорогих гостей, – пошутил с ней старик. – Вот привез вам двух гостинцев... Выбирайте, который больше поглянется. Ну, а что попадья? Прыгает?.. Ах, дуй ее горой!.. Вечером, Никон, в гости пойдем к попу... Одно удив-

ление, а не поп. Левонид-то у них на квартире стоит. Вот так канпанию завели... ха-ха! И немка с ними...

Никон рассеянно молчал, не слушая, что говорит владыка. Это молчание и рассеянность возмущали Федота Якимыча всю дорогу, и он несколько раз принимался ругать Никола.

– Да ты что молчишь-то, басурман? Ведь с тобой говорят... С Карпушкой-то на одно лыко тебя связать. Уродится же этакой человек... Не гляди ты, ради Христа, очками своими на меня: с души воротит.

Вечером, когда у попа пили чай, пожаловали приехавшие гости, то есть Федот Якимыч и Никон. Старик, помолившись образу, сейчас же преподнес попадье таинственный сверток, расцеловал ее и проговорил:

– Это тебе поминки от меня, попадья, чтобы не забывала старика, а от Наташи поклончик отдельно... Ну, здравствуй, хохлатый!

На Гордеевых в первую минуту Федот Якимыч не обратил никакого внимания, точно их и в комнате не было. Никон поцеловал руку у Амалии Карловны, а попадье поклонился издали. Это опять рассмешило Федота Якимыча.

– Чего ты басурманом-то, Никон, прикидываешься? – шутил старик. – Руку у немки поцеловал, теперь целуй попадью прямо в губы... У нас, брат, попросту!.. А я-то и не поздоровался с немочкой. Ну, здравствуй, беляночка!

Федот Якимыч хотел ее обнять и расцеловать, как попа-

дью, но та вскрикнула и выбежала из комнаты.

– Ишь недотрога царевна! – смеялся старик. – Ладно я ее напугал... А того не подумала, глупая, что я по-отечески... Старика можно поцеловать всегда. За углом не хорошо целоваться, а старика да при людях по обычаю должна.

Попадья не сводила глаз с Никона, точно хотела прочесть в нем тайные думы Наташи. «Вот понравится сатана пуще ясного сокола», – невольно подумала она, легонько вздыхая. А Никон пил чай и ни на кого не обращал внимания, точно пришел к себе домой. Это невнимание задело попадью за живое. «Постой, голубчик, ты у меня заговоришь, даром что ученый», – решила она про себя. Хохлатый поп, по обыкновению, шагал из угла в угол и упорно молчал, точно воды в рот набрал. Федот Якимыч разговаривал с Леонидом о заводских делах, – давешнее веселое настроение соскочило с него разом, и он начал поглаживать свою бороду. Амалия Карловна несколько раз появлялась в дверях и пряталась, точно девочка-подросток. Попадья делала ей какие-то таинственные знаки, но немка ничего не хотела понимать, отрицательно качала белокурою головкой и глядела исподлобья на гостей.

– Послушайте, да вы что пнем-то сидите? – обрушилась неожиданно попадья на Никона. – Ну, спойте что-нибудь по крайней мере... Я вам на гитаре сыграю.

– Так его, хорошенько! – похвалил Федот Якимыч. – Не с кислым молоком приехали.

Никон поднял глаза на бойкую попадью и безотчетно улыбнулся. «Да он хороший!» – удивилась попадья. Их глаза встретились еще в первый раз. Попадья беззаботно тряхнула головой, достала гитару и, заложив по-мужскому ногу за ногу, уселась на диван. Федот Якимыч подсел к ней рядом.

– Ну, милушка, затягивай, – упрашивал он. – Да позаунывнее, чтобы до слез проняло. Уважь, Капитолинушка...

Когда раздались первые аккорды и к ним присоединился красивый женский контральто, Никон даже поднялся с места, да так и впился своими близорукими глазами в мудреную попадью. Отлично пела попадья, а сегодня в особенности. И красивая была, особенно когда быстро взглядывала своими темными глазами с поволокой. Федот Якимыч совсем расчувствовался и кончил тем, что вытер скатившуюся старческую слезу. И Никон чувствовал, что с ним делается что-то необыкновенное, точно вот он упал куда-то и не может подняться, но это было сладкое бессилие, как в утренних просонках.

Амалия Карловна воспользовалась этим моментом и знаками вызвала мужа в другую комнату. Здесь она с детской порывистостью бросилась к нему на шею и заплакала.

– Милочка, что с тобой? – изумился Леонид, целуя жену.

– Да как он смел... – повторяла немка, задыхаясь от слез. –

Так обращаются только с крепостными...

– А попадья?

– Она другое дело, Леонид... Потом он так посмотрел на

меня... нехорошо посмотрел.

– Да ведь он – старик. А впрочем, как знаешь...

Немка так и не показалась больше. Она заперлась в своей комнате, сославшись на головную боль. Когда попадья объявила об этом, Федот Якимыч погладил свою бороду и крикнул. Впрочем, он сейчас же спохватился и принялся за серьезные разговоры с Леонидом.

– Я привез к тебе брата, ты у меня и будешь за него в ответе, – объяснил старик. – Положим, мы с ним помирились, а все-таки ему пальца в рот не клади... Насквозь вижу всего! Одним словом, лапистый зверь. Он будет у вас на Новом заводе меховой корпус строить, а Карпушка будет помогать. Наказание мое этот Карпушка: с кругу спился мужик... И с чего бы, кажется? Ума не приложу... Уж я с ним и так, и этак, и лаской, и строгостью – ничего не берет. Дурит мужик... Ты его тоже к рукам прибери: с тебя взysкивать буду.

– Да что же я с ним подделаю, Федот Якимыч? – взмолился Леонид.

– А уж это твоего ума дело... Не люблю, когда со мной так разговаривают. Слышал? Не люблю. Учился у немцев, а не понимаешь того, как с добрыми людьми жить. Я бы Григорию Федотычу наказал, да не таковский он человек: характер потяжелее моего.

Ужин прошел довольно скучно, несмотря на все усилия попадья развеселить компанию. Все были точно связаны. Никон сидел рядом с попадьею, и она не утерпела, чтобы не

спросить его шепотом:

– А вы Наташу знаете?

– Какую Наташу?

– Ну, дочь Федота Якимыча... Красивая такая женщина
– кровь с молоком.

– Ах, да...

– Что да?

– Ничего...

Попадья улыбнулась одними глазами и даже отодвинулась от Никона, – очень уж пристально он смотрел на нее. «Этакой мудреный, Христос с ним, – подумала попадья. – Ничего с ним не сообразишь». Поп Евстигней промолчал все время, и все время никто не обращал на него внимания, как на бедного родственника или приживальца.

– Вот что, Леонид, ты скажи жене мой поклончик, – говорил Федот Якимыч на прощанье. – Так и скажи, что старик Федот Якимыч кланяется...

Никон на прощанье так крепко пожал руку попадье, что та чуть не вскрикнула.

На другой день утром Федот Якимыч опять заявился в поповский дом, на этот раз уже один. Леонид был на службе, попа увезли куда-то с требой, а попадья убиралась в кухню. Старик подождал, когда выйдет «белянка».

– Заехал проститься... – коротко объяснил он, когда Амалия Карловна вышла в гостиную.

– Вы уже уезжаете? Так скоро... – ответила немка и по-

смотрела своими ясными глазами прямо в душу старику.

– А зачем ты вчера убежала? – в упор спросил старик. – Я ведь к тебе, беляночка, не с худом... Ну, чего смотришь-то так на меня? Для других я и крут и строг, а для тебя найдем и ласковое словечко...

– Благодарю, но я не знаю, чем я заслужила ваше внимание... – смущенно ответила Амалия Карловна.

– Чем? А уж это как кому бог на душу положит. Поглянулась ты мне с первого разу – и весь сказ... Вот попадью тоже люблю, Никашку-гордеца помирил. Ну, как живешь-можешь: скучно, поди, в другой раз?.. Да вот что, беляночка, принеси-ка мне, старику, рюмку анисовки, – у попа есть. Я из твоих рук хочу выпить...

Немка быстро ушла, а Федот Якимыч присел к столу, положив свою седую голову на руки, да так и застыл. С ним делалось что-то странное, в чем он сам не мог дать себе отчета. Зачем он пришел сюда? Еще, на грех-то, поп хохлатый воротится... Ох, стыдобушка головушке! Когда немка вернулась с рюмкой анисовки, старик молча выпил ее, посмотрел еще раз на беляночку и проговорил:

– Ну, не поминай лихом старика, немка...

Она чуть улыбнулась, и Федот Якимыч весь побагровел.

– Чему обрадовалась-то, а?.. Эх, да что тут толковать...

Прощай!

Попадья подслушивала всю эту сцену и укоризненно качала головой. Когда старик вышел, она скрылась в свою кух-

ню как ни в чем не бывало. Амалия Карловна ушла в свою комнату, заперлась и заплакала. О чем были эти слезы, она ничего не могла бы сказать, но ей так сделалось грустно, так грустно, как еще никогда. Ей вдруг страстно захотелось уехать отсюда, туда, в свои зеленые горы, точно пришла какая-то неминуемая беда. Сердце так и ныло. Первая ложь в ее жизни была та, что она ничего не сказала мужу о визите Федота Якимыча и о своем разговоре с ним. Попадья тоже молчала, точно воды в рот набрала, но по выражению ее лица Амалия Карловна видела, что попадья все знает. Это фальшивое положение мучило немку, и вместе с тем в ее душе таинственно образовался какой-то собственный мирок.

Первым вопросом после отъезда Федота Якимыча было то, как устроить Никона. Он пока перебивался в господском доме, у Григория Федотыча, но оставаться там было неудобно.

– Разве мы поместим его у себя? – спрашивал раз Леонид. – Я могу ему уступить свою комнату.

– Да удобно ли ему будет? – заметила попадья. – Мы-то ведь попросту живем...

– Да и он простой человек, Капитолина Егоровна...

Попадья политично промолчала и только мельком взглянула на своего хохлатого попа. В результате вышло все-таки то, что Никон поселился в господском поповском доме. Правда, дома он почти не бывал: уходил на работу в пять часов утра, приходил в двенадцать часов обедать, а потом

опять на работу до позднего вечера. Дома он был занят разными чертежами, сметами и вычислениями.

VII

Амфeya Парфеновна была встревожена. Пока особенного еще ничего не случилось, но ее беспокоило поведение Наташи. С бабой творилось что-то неладное... Немушка Пелагея примечала то же самое, мычала и показывала рукой вдаль, дескать, беда Наташина там, в Новом заводе, с очками на носу и в шляпе. Старуха отлично понимала все, что говорила немушка, и должна была соглашаться. Наташа мало теперь жила в Землянском заводе, а все уезжала в Новый под предлогом гостить у брата Григория Федотыча.

– Эх, муж у Наташи плох, – жалела старуха. – Польстились тогда на богатство... Ну, да бог не без милости. И не такая беда избывается...

Купец Недошивин, муж Наташи, был недалекий и добрый человек, страдавший купеческим ярмарочным запоем. У него был свой каменный дом в Землянском заводе и каменная лавка с красным товаром. Дело велось плохо, и наживались одни приказчики, а хозяину доставалась «любая половина» из выручки. Впрочем, Недошивин не любил считать барышей, а проводил день, играя в шашки с другими купцами. К вечеру он шел куда-нибудь в гости или напивался дома. Наташа оставалась дома одна и не знала, куда ей деваться с своим бездельем. Обыкновенно она уезжала к матери, если заберет тоска, а то укатит в Новый завод, чтобы от-

вести душеньку с попадъей. Амфея Парфеновна редко навещала зятя, потому что не выносила пьяниц вообще. Но ввиду экстренного дела она решилась проведать Наташу и неожиданно-негаданно нагрянула к обеду. Это было целое событие, когда старуха собиралась куда-нибудь в гости. Даже беспечная Наташа – и та чувствовала в себе какой-то детский страх, когда приезжала дорогая гостья.

– Ну, как живете-можете? – строго спрашивала Амфея Парфеновна, чинно усаживаясь на поданное зятем кресло. – Проведать вас приехала...

– Ничего, мамынька, живем, пока мыши головы не отъели, – отвечал зять с напускною развязностью. – А между прочим, покорно благодарим...

Старуха взглянула на его заплывшее и опухшее лицо, на слезившиеся глаза, на молчавшую Наташу и строго покачала головой.

– Когда успел наклюкаться-то? – укоризненно проговорила она. – На дворе свят день до обеда, а ты уж языком-то заплетаешься...

– Мамынька, вчера в гостях был...

– У нас каждый день одна музыка, – заметила Наташа, – с утра пьяны...

– А не твое дело мужу-то указывать! – накинулась на нее старуха. – В другой раз жена-то должна и помолчать: видит – не видит... Плох у тебя муж-то!.. Это я ему могу сказать, потому как постарше его, а твое дело совсем маленькое.

– Верно, мамынька! – одобрительно проговорил Недошин. – А, промежду прочим, я на Наташу не жалуясь, живем ничего.

– Какая это жизнь, мамынька? – взмолилась Наташа. – Тоска одна... Глаза бы мои не смотрели на безобразие-то на наше.

Это только было и нужно Амфее Парфеновне. Она с раскольничьей настойчивостью начала отчитывать дочери разные строгие слова, а главное, что должна уважать мужа больше всего на свете. «Господь соединил, а человек да не разлучает... Да. Мужем дом держится, а жена без мужа – как дом без крыши. И худой муж, все-таки – муж... Другой муж и с пути свихнется от своей же жены, а домашняя беда хуже заезжей в тысячу раз. Строгости у вас в доме никакой нет – вот главная причина».

Наташа выслушала эти грозные речи с почтительным молчанием, как была приучена еще в родительском доме, и ничего не ответила матери, а только тихо заплакала. Недошин смотрел с недоумением то на тещу, то на жену и кончил тем, что хлопнул рюмку водки самым бессовестным образом.

– Эх, мамынька! – бормотал он, смущенный собственной смелостью. – Ничего я не понимаю, простой человек.

– Вот то-то и лиха беда, что прост ты, – пилила старуха, – а другой раз наша-то простота хуже воровства... Поучил бы жену хоть для примеру. Все-таки острастка...

– Как я ее буду учить-то? – взмолился Недошивин. – Не бить же ее мне, мамынька?

– Ну, и бей! – с ожесточением говорила Наташа. – Ну, бей!.. Все бейте меня, а я в своем доме чужая...

– Опомнись, полоумная, что говоришь-то? – испугалась Амфея Парфеновна: она знала азартный характер Наташи.

– Бейте, бейте! – повторяла Наташа, захлебываясь от слез. – Я хуже скажу...

Вся сцена кончилась тем, что Наташа совсем расплакалась, и Амфее Парфеновне пришлось ее же утешать. Старуха сделала зятю знак, чтоб он уходил. Недошивин обрадовался случаю улизнуть. Наташа рыдала, закрыв лицо руками. Этот приступ такого искреннего горя совсем обескуражил Амфею Парфеновну.

– Милушка, родная, чем я тебя разобидела? – ласково заговорила она, обнимая дочь. – Ну, скажи... Все скажи, как на духу.

– Нечего мне и говорить, мамынька... Знаю только одно, что тошно мне... Хоть бы дети были, а то чужая я в доме. Муж – пьяница... Ах, тошно!..

Своею ласковостью Амфея Парфеновна хотела вывести у Наташи всю подноготную, а когда эта попытка не удалась, она угрюмо замолчала. В комнате слышны были только подавленные рыдания Наташи.

– Так ты вот какая! – строго проговорила старуха.

– Какая, мамынька?

– А такая... Все я знаю, милушка, и неспроста к вам приехала. Вот скажу мужу-то, так и узнаешь, какая ты мужняя жена. Страмишь отца с матерью да добрых людей смешишь... Ты думаешь, добрые-то люди не видят ничего? Все, матушка, видят, да еще и своего прибавят... Муж не люб, так другой приглянулся. Сказывай, змея, не таи...

– Ничего я не знаю, мамынька!

– А! не знаешь? Так я тебе скажу, зачем ты в Новый завод едешь...

– Мамынька, родная...

– К гордецу Никашке едешь... Все знаю!

Последнее сорвалось с языка Амфеи Парфеновны сгоряча; она могла только подозревать, но определенного ничего не знала. А Наташа даже отскочила от нее и посмотрела такими большими-большими глазами. Ее точно громом ударило.

– Мамынька, господь с тобой!

– Все знаю!.. Ох, согрешила я на старости лет!..

– Как же я-то не знаю, мамынька? Люб он мне, Никон, а только не в чем мне и богу каяться... Он и смотреть на меня не хочет, а ты какие слова говоришь! Я и мужу то же скажу, постылому... Не жена я ему, чужая в дому!.. Судить-то всяк судит, а слез-то моих никто еще не видал...

Так ничего и не добилась Амфея Парфеновна, с тем и домой приехала. Целых два дня она не показывалась из светлицы, а потом позвала Федота Якимыча.

– Сгоняй-ко в Новый завод, Федот Якимыч, да привези мне эту Евстигнееву попадью, – говорила она.

– Нарочного можно послать, Феюшка, – пробовал возразить старик.

– Это я и без тебя знаю. Наслушим всех, ежели через нарочного попадью вытребуем... А с тобой-то она по пути придет, будто сама выпросилась. Надо мне ее, белобокую сорочку... Разговор серьезный имею.

Федот Якимыч пробовал было сопротивляться, но из этого ничего не вышло, – старуха была непреклонна. Целую ночь он ворочался с боку на бок и вздыхал, а наутро в последний раз сказал:

– Не поеду я, Феюшка...

– Нет, поедешь, коли тебе говорят русским языком.

Ну, ехать так ехать... До Нового завода было всего верст сорок. На другой день Федот Якимыч вернулся и привез с собой попадью. Он нарочно приехал затемно, чтобы люди не видали, какую он с собой птицу привез. Попадья тоже струсила и всю дорогу молчала. О грозной раскольнице Амфее Парфеновне она много слыхала, но видать ее не случилось. Зачем ее вызвала старуха, шустрая попадья смутно догадывалась. Всю дорогу она молчала и со страхом вступила в грозный господский дом. Немушка Пелагея провела попадью прямо наверх, в светлицу, к самой Амфее Парфеновне; та грозно оглядела званую гостью и без предисловий спросила:

– Ну, жар-птица, рассказывай, чего вы там намутили? Да у меня, смотри, не запирайся, – насквозь вижу.

Начался грозный допрос. Попадья боялась больше всего, что не о Федоте ли Якимыче пойдет речь, а когда поняла, что дело в Наташе, вздохнула свободно. Никон и внимания никакого не обращает на нее, хотя она действительно сильно припадала к нему и, можно оказать, даже женский свой стыд забывала. Не иначе все это дело, что Наташа испорчена, решила попадья в заключение, выгораживая приятельницу.

– Да ты не вертись, как береста на огне, а говори правду, – несколько раз окрикнула Амфея Парфеновна. – Уж я-то знаю, какая такая есть на белом свете Наташа, не твоего это ума дело... Вот ты про Никона-то все молчишь.

– Никон тут ни при чем, Амфея Парфеновна!

– По глазам вижу, что врешь!..

– Сейчас с места не сойти, не вру.

Прижатая к стенке, попадья должна была сознаться, что Никон как будто ухаживает больше за ней, то есть и не ухаживает, а все смотрит. Даже страшно делается, как упрется глазами.

– Ну, это уж твое дело, – совершенно равнодушно ответила Амфея Парфеновна. – Больно песни мастеровато поешь... Тоже слышали.

Вслед за допросом, успокоившим старуху, началось угощение заезжей попадью и чаем, и вареньем, и закусками, и наливками. В заключение Амфея Парфеновна подарила по-

падье большой шелковый платок и даже расцеловала. Попадью отправили домой в ночь, как и привезли, чтобы никто и ничего не видел. У Амфеи Парфеновны точно гора с плеч свалилась, она сразу повеселела. Просто дурит Наташа, потому что муж – дурак. Суди на волка, суди и по волку... Живо́й человек о живом и думает.

В своих заботах о дочери Амфея Парфеновна совсем не заметила, что с Федотом Якимычем творится что-то неладное. Он из лица даже спал, плохо ел и ходил дома ночь-ночью. Днем еще болтается за разными делами – то в заводе, то в конторе, а как пришел вечер, так старик и заходил по горнице – ходит из угла в угол, точно маятник. И ночью не спится старику, как-то обидно ему делается, и стыдно, и точно все равно. Не замечал он раньше, что состарилась Феюшка, а теперь невольно отвертывался, чтобы не видеть ее старости. А самого так и тянет туда, в Новый завод, хоть бы одним глазом глянуть. Федоту Якимычу вдруг сделалось страшно и за себя, и за весь свой дом, и за всю прожитую жизнь. Что же это такое? Наваждение, колдовство, чары...

– Так нет же, не будет по-твоему! – вслух думал он. – Вздор!..

Он уходил в моленную и горячо молился по целым часам, но и молитва не подкрепляла его, точно молился не он, Федот Якимыч, а кто-то другой. Старик чувствовал, точно холодная вода подступала к нему, и опять он переживал детский безотчетный страх. Хотелось плакать, а плакать было

стыдно. А Амфея Парфеновна ничего не хотела видеть, и у Федота Якимыча накипало к жене нехорошее чувство. Как же она-то не чувствует, что делается с ним? И сны у старика были все такие тяжелые и нехорошие. Раз он увидел даже, как пошатнулся на своих устоях старый дедовский дом, а матица погнулась и затрещала, – не к добру такие-то сны.

Когда очень уж приходилось тошно, Федот Якимыч уезжал куда-нибудь на другие заводы, но и это не спасало, – с ним вместе ехала и неотвязная дума, присосавшаяся к его старой душе лютым ворогом. Позванивают дорожные колокольчики, покрикивает лихой «фалетор», а в голове Федота Якимыча тоже звон стоит, и перед глазами ходят красные круги. Так бы вот, кажется, взял бы да и стряхнул с себя свою старость, всю прошлую жизнь, и зажил по-новому, по-молодому.

– Господи, прости меня грешного! – молился старик, в ужасе закрывая глаза.

Наконец, он не вытерпел. Надо во всем покаяться Амфее Парфеновне: пусть отмаливает его от дьявольского наваждения. С этою мыслью старик вернулся из последней поездки, с этою мыслью вошел в свой дом, с этою мыслью поднялся наверх в моленную, отворил дверь – и вернулся назад.

– Не могу, не магу, не могу!.. – шептал он, сдерживая рыдания.

VIII

На Новом заводе все шло по-старому, то есть так оно казалось со стороны. В поповском доме теперь жилось очень весело сравнительно с тем, как жили тихо раньше. Днем дома оставались только одни женщины, но зато вечером собиралось целое общество: братья Гордеевы, поп Евстигней, а затем частенько приходил Григорий Федотыч. Рассуждали о разных разностях, спорили, иногда садились играть в карты. Был еще человек, который скромно помещался где-нибудь в уголке и молчал: это был изобретатель Карпушка, пригретый Леонидом.

– Ох, уж и надоел он мне, этот Карпушка, – ворчала иногда попадья. – Чего он сидит, как сыч?.. Слова от него не добьешься.

– Он такой же человек, Капитолина Егоровна, как и мы с вами, – объяснял Леонид. – Может быть, и лучше нас с вами...

– У вас все хорошие... А я вот видеть его не могу. Хоть бы водку пил, что ли!.. Мне свой-то молчальник-поп надоел, а тут еще другой на глазах постоянно торчит... Тошнехонько!

Поездка на поклон к Амфее Парфеновне заметно повлияла на попадью: она сделалась как будто тише, и нет-нет, да и задумается. Никона попадья стала просто бояться и по возможности старалась избегать его, что, живя в одном доме,

было довольно трудно сделать. Собственно говоря, Никон ничего такого не делал, что представляло бы опасность, но попадья инстинктивно чувствовала на себе его взгляд и смущалась каждый раз, как девчонка. Вообще в попадье явились непонятные перемены. Так, она вдруг, без всякой видимой причины, возненавидела Амалию Карловну и по-женски преследовала на каждом шагу. Это было темное и безотчетное чувство, одно из тех, в которых не дают себе отчета.

А Карпушка сидел в уголке и смотрел, как живут господа. Он вообще имел какой-то растерянный и пришибленный вид, как человек, что-то потерявший или старавшийся что-то припомнить. С переездом в Новый завод он бросил водку и усердно работал под руководством Никона. Постройка мехового корпуса была уже окончена, и теперь ставили машину. Работы было по горло, а у Карпушки были золотые руки. Он понимал Никона по выражению лица, по малейшему движению и исполнял вперед каждую его мысль. Часто Никон с удивлением глядел на самоучку и только качал головой. Если б такому способному человеку дать образование, что бы из него вышло? Впрочем, образование еще не делает человека. Однако как ни крепился Карпушка, а его прорвало, когда меха были кончены и пущены в ход. На открытие приехал сам Федот Якимыч, и было устроено угощение для рабочих.

– Ну, ты, сахар, смотри у меня, – предупреждал Федот Якимыч, подавая опять рюмку Карпушке. – Лучше не пей...

– Больно тяжела твоя-то рюмка, Федот Якимыч, – сказал Карп, залпом выпивая водку. – Точно камнем придавила...

– Дурак ты, Карпушка...

– Я – дурак?

Карпушка засмеялся и потянулся за следующей рюмкой уже без приглашения. Вечером он был мертвецки пьян и устроил скандал по всей форме. Федот Якимыч сидел в господском доме, когда пьяный Карпушка явился к нему. Его, конечно, не пустили в дом, и Карпушке ничего не оставалось, как только буяннить под окнами, что он и исполнил.

– Подавай мне Федота Якимыча! – орал Карпушка. – Я ему пок-кажу... да. Пок-кажу, каков человек есть Карпушка... Машину наладил своим умом... Эх вы, страмцы, все-то вас сложить, так вы одного пальца Карпушки не стоите!

Буяна отвели протрезвиться в машинную, но этот случай испортил Федоту Якимычу целый день. Он нахмурился и мало с кем говорил.

– Он тебя любит, развлекай его, – шепнул Леонид жене. – Ведь старик хоть и самодур, но в нем есть что-то такое... хорошее. Никон прав...

Немка только посмотрела на мужа и ничего не ответила. Вечером мужчины играли в карты, а попадья играла на гитаре и пела. Федоту Якимычу особенно понравилась старинная песня:

У воробушка головушка болела,

Да ах! как болела...
На одну ножку он припадает,
Да ах! как припадает.

– Вот это ты правильно, Капитолинушка! – ободрял старик, отбивая рукой такт. – Головушка болела...

С Амалией Карловной он почти не говорил и точно не обращал на нее никакого внимания. Когда она подошла к нему, по совету мужа, сама, Федот Якимыч заметно смутился и даже опустил глаза.

– Какой вы сегодня странный... – заговорила немка, усаживаясь рядом с ним.

– А што?

– Да так... Не походите на себя.

– А какой я, по-твоему-то? Ну-ка, скажи, белянка.

– Вы... а вы не рассердитесь?

– На тебя у меня нет сердца...

– Вы добрый... только все вас боятся.

– За дело строг, за дело и милостив. На всех не угодишь...

А што я добр, так ты это правильно, белянка. Тебя вот любил...

Немка замолчала, опустив глаза. Федот Якимыч тяжело вздохнул. Она сидела такая изящная, нежная, беленькая, как девочка-подросток. При огне вечером глаза потемнели, а когда она смеялась, на щеках прыгали две ямочки, какие бывают у пухлых детей. Ах, и хороша же была немочка, особенно

когда выглядывала исподлобья, точно сердилась.

– Зачем вы бываете сердитым? – спрашивала она после длинной паузы.

– Ах, беляночка, да ведь нельзя же!.. За всех я один в ответе, как цепной пес: вот и бросаешься на людей. Ты думаешь, я сам-то не понимаю своего зверства? Весьма даже превосходно понимаю... Вот ты теперь сидишь рядом со мной, и тише меня нет.

– И будьте всегда таким, Федот Якимыч...

– А будешь сидеть рядом со мной? – тихо спросил старик.

Этот вопрос заставил немку отодвинуться. Она ничего не ответила, а только опустила глаза. Федот Якимыч широко вздохнул, повернулся на месте и попрежнему тихо проговорил:

– А ведь попадья-то про меня песню спела: «У воробушка головушка болела»... Сам я не свой, беляночка. Сердце упадет в другой раз, как... Ну, да не об чем нам с тобой разговоры разговаривать. Заболтался я... У тебя свое на уме, у меня – свое.

Немка тихо подняла свои серые глаза и посмотрела прямо в лицо Федоту Якимычу, да так посмотрела, что он привскочил на месте, разгладил седую бороду и сердито отмахнулся рукой. Немка опять опустила глаза и слегка покраснелась, как виноватая.

Стал Федот Якимыч поезживать в Новый завод все чаще и чаще. Приедет будто за делом, а сам целое утро в попов-

ском доме сидит, – попадья толчется бабьим делом на кухне, а немка с гостем прохлаждается. Окончательно не взлюбила ее попадья, да и немка затаилась. Две сердитые бабы в доме хуже двух медведей в одной берлоге. А Федот Якимыч точно ничего не замечает.

– Камень ты самоцветный, бяляночка, – ласково говорит он, когда в комнате никого нет. – И дорогой камень...

– Будто? – удивляется немка.

– В парче бы тебе ходить да в золоте.

Очень уж ласково умела смотреть немка, – как взглянет, так и упадет стариковское сердце. Пробовал он было привезти ей подарок, но немка даже обиделась и замахала руками.

– За кого вы меня принимаете, Федот Якимыч? Ничего мне не нужно.

– А нехорошо гордиться перед стариком... Я не для обиды, а в честь.

Раз Федот Якимыч попался, как кур во щи. Он приехал прямо к поповскому дому, а лошадей одних отправил в господский. Дело было утром. Входит в комнату, а там Наташа сидит с попадьею. У старика даже руки опустились.

– Ты... ты зачем здесь? – бормотал старик виновато. – Как сюда-то попала?

– Как и раньше, тятенька... К попадье в гости приехала.

Наташа была такая скучная да туманная и ничего не заметила. Федот Якимыч посидел с бабами, поговорил для приличия и, не выдавши немки, ушел в господский дом. Попа-

дья только вздыхала, – очень уж тяжело приходилось ей с квартирантами. Того и гляди, беду наживешь. Наташа еще ничего, а как придется ответ держать за Федота Якимыча? Амфея-то Парфеновна шутить не любит: такого жару задаст всем, что не обрадуешься. Вон она какая – медведица... Федот Якимыч на этот раз так и не заглянул больше в поповский дом, а послал за Наташей и увез ее с собой домой. Всю дорогу он молчал, молчала и Наташа. У каждого была своя дума.

Братья Гордеевы продолжали свою службу попрежнему. Никон заново перестраивал помаленьку весь завод, а Леонид все сидел в своей конторе. Не весело было у них на душе, хоть оба и молчали. Никона тяготила эта куриная работа: вот домну перестроит, поставит катальную машину, а дальше что?.. Разве к этому он готовился, об этом замышлял?.. Иногда Никону просто делалось жаль самого себя: не на своем он месте. Его отчасти мирила с жизнью в Новом заводе разбитная попадья. Он не то чтобы ухаживал за ней, а просто чувствовал себя легче в ее присутствии. А время идет день за днем, неделя за неделей – лучшее, молодое время. Крепкий был человек Никон и не любил жаловаться на свою судьбу, но ему делалось подчас тошно, и он начинал понимать настроение Карпушки. Даже делалось завидно, что вот человек хоть водкой может залить свое горе, а он и этого сделать не в состоянии. Карпушка быстро «привесился» к новому механику и жил на льготных условиях. Неделю работает, две

пирует. А как напьется, сейчас пристанет к Никону:

– Я – цепная собака, и ты, Никон Зотыч, не лучше меня... На одной цепи-то сидим, только я маненько поумнее тебя. Мозговитый я человек – вот главная причина. Могу все понимать...

– Негодяй ты, вот что, – ругался Никон.

Леонид тоже молчал, но у него были свои мысли. О, как он мучился и страдал!.. Но эти страдания были скрыты, как родниковая вода в глубинах земных недр. Никто и не подозревал, как мучился Леонид, и это доставляло ему какое-то жестокое наслаждение. Да, он все видел, чувствовал, понимал и молчал. Слепнувший человек, когда перед ним закрывается мир, чувствует, вероятно, то же – мучительную и гнетущую темноту, которая обступает со всех сторон. Сознание собственного бессилия, оскорбленной гордости, попранного святого чувства – все это складывалось в одно гнетущее настроение, которому не было ни выхода, ни названия. Свет закрывался у него в глазах. Беда была у себя дома, она приходила и уходила вместе с ним, вместе с ним ложилась спать, поднималась утром и могильным камнем давила весь день.

«За что? – повторял про себя Леонид, ломая руки. – Маличка, что ты делаешь!.. Чувствуешь ли, как я страдаю?»

Жене Леонид не говорил ничего, да и что он мог ей сказать? Она его любила, очень любила, но куда все это девалось? Перед ним была другая женщина, чужая и неизвестная ему, далекая и неприятная. Как все это могло случиться-

ся? Он первый заметил, что Маличка нравится Федоту Якимычу, и даже сам как-то просил ее занимать старика... Не смешно ли ревновать ее к нему? Ведь это глупо, обидно и нелепо... А между тем это было так. Маличка любила Федота Якимыча, потому что старик был еще хорош оригинальной старческой красотой, энергией, умом и своею особенною ласковостью. К нему навстречу пошла проснувшаяся в Маличке женщина, а та девочка, которая любила Леонида, умерла... Да и как любить его, крепостного служащего, запертого в этой проклятой мышеловке? Леонид чувствовал, что жена изверилась в нем, что она больше не уважает его и не чувствует того, что было раньше. Да, было и прошло... и не воротишь! Несколько раз Леонид хотел по душе поговорить с женой, раскрыть ей всю душу, но она смотрела на него такими чужими глазами, что слова замирали у него на губах. И это повторялось каждый раз, когда он видел ее. Без нее он отлично знал, что должен сказать ей и как сказать – убедительно, просто, душевно, а при ней все это замирало, и он мог только молчать. Иногда ему казалось, что он начинает ненавидеть жену, и сам пугался своего настроения.

«Но ведь она ребенок... Она не понимает сама, куда идет, – думал Леонид в тысячу первый раз. – Нужно ей объяснить, растолковать, наконец внушить».

Но все это были слова, слова, слова... Леониду мешала и своя оскорбленная гордость, и скрытность жены, и тонкое понимание каждого ее движения. О, он по ее глазам знал, ко-

гда Федот Якимыч приедет, когда ей было весело, когда напали минуты раздумья и когда накатывалась полоса непонятного, но упрямого желания плыть по течению... Господи, как все это глупо, невероятно, и еще раз глупо!.. Часто Леонид начинал думать, что уж не сходит ли он с ума и что все это плод его расстроенного воображения. Но стоило ему взглянуть на жену, как он сейчас же видел, что все это – правда, правда, правда...

IX

Первая поездка Амалии Карловны в Землянский завод решила все дело. Леонид чувствовал, что этим все кончается, но не противоречил и не отговаривал жену. Только перед отъездом, когда уже были поданы лошади, он сказал ей:

– Маличка, не лучше ли остаться? Мало ли что может случиться дорогой...

Она быстро посмотрела на него и точно испугалась. Это был момент нерешительности, но Леонид не мог им воспользоваться, – вся кровь бросилась ему в голову, и горло точно что сдавило. Да, он был горд и не хотел просить, умолять, плакать, грозить. К чему? Все понятно и без жалких слов. Для чего унижать себя, когда он и без того чувствовал себя таким несчастным, безгранично несчастным?

Так Маличка и уехала, а Леонид затворился в своей комнате. Он плакал, рвал на себе в отчаянье волосы, – ведь она хуже, чем умерла для него. Нет, лучше, если б она умерла. Муки были слишком сильны, и Леонид изменил себе. Дело было летом, он взял верховую лошадь и отправился догонять жену. Двадцать верст пролетели незаметно, лошадь выбилась из сил. Догнал он жену уже на второй половине. Она, видимо, смутилась и велела кучеру остановиться...

– Что вам угодно? – спросила она с деланою смелостью.

– Маличка, вернись... родная... голубка... что ты дела-

ешь?

Она посмотрела на него, отвернулась и сказала всего одно слово:

– Поздно...

Он без слов повернул лошадь и поехал обратно, не оглянувшись ни разу. Домой вернулся Леонид только на другой день, вернулся пешком, измученный, разбитый, сумасшедший. Два дня он не выходил из своей комнаты, и попадья слышала, как рыдал этот крепкий и гордый человек, точно заблудившийся в лесу ребенок.

– Растерзать мало эту проклятую немку, – повторяла попадья про себя. – Что-нибудь сделает он над собой... На кого польстилась-то, отчаянная? Муж молодой, а тут седой старик... Стыдно и подумать-то!

Все-таки нужно же было что-нибудь предпринять. Пробовала попадья разговаривать с своим хохлатым попом, но из этого решительно ничего не вышло: поп посмотрел на нее удивленными глазами, пожал плечами и решительно ничего не ответил. В запасе оставался один Никон, и попадья обратилась к нему с необходимыми предосторожностями. Он внимательно выслушал, помолчал и спросил:

– Что же вам, собственно, от меня нужно, Капитолина Егоровна?

– Как что? Да ведь Леонид Зотыч не чужой вам... Добрые люди родным братом называют.

– Все это так, но мой принцип никогда не вмешиваться

в чужие дела... Не думаю, чтоб я мог поправить такое дело своим непрошенным вмешательством.

– А если он что сделает над собой?

– Опять-таки не мое дело, Капитолина Егоровна... Конечно, мне его жаль, как и всякого другого человека на его месте, но ведь я не могу сделать Амалию Карловну умнее и честнее, не могу заставить ее полюбить мужа.

– Ах, согрешила я с вами, грешная! – взмолилась попадья, ломая руки. – Все-то вы какие-то оглашенные собрались. Ведь я дело вам говорю и попу своему то же говорила. Ах ты, господи-батюшко!

Попадья даже всплакнула с горя, а Никон сидел, молчал и смотрел на нее. Хохлатый поп тут же шагал из угла в угол и тоже молчал.

– Что вы смотрите-то на меня, окаянные? – накинулась на них попадья с внезапным азартом. – Ну, что уставились? Не узоры на мне нарисованы... Убирайтесь с глаз долой! Глядеть-то на вас тошнехонько... Всю душу вымотали, оглашенные.

Попадья так и выгнала из дому и попа Евстигнея и Никола. Они не спорили и пошли вместе в завод как ни в чем не бывало. А попадья высунулась в окно и обругала их вдогонку еще раз.

– Батька, а погода стоит отличная, – задумчиво говорил Никон, шагая с заложенными в карманы брюк руками и посасывая свою английскую трубочку.

– Скоро ерши будут отлично клевать, – ответил поп Евстигней, страстный рыболов.

«Этакой дурак поп!» – невольно подумал Никон, сплевывая сквозь зубы.

Немка вернулась только через три дня, – вернулась как ни в чем не бывало, веселая и счастливая. Она навезла с собою разных покупок, но никому не показывала, а спрятала куда-то в комод.

В поповском доме начался тот семейный ад, которому нет названия. Амалия Карловна бравировала своим новым положением и делала, кажется, все, чтобы вызвать мужа на какой-нибудь крайний поступок. Его немой укор она встречала отчаянною решимостью и шла вперед, очертя голову. Леонид отказывался даже понимать, что с ней творится. А между тем дело было ясно, как день. Немке нравилось, что она покорила силу, ею овладел инстинкт разрушения: пусть все рушится, как испорчена и ее жизнь. Ей нравился и сам Федот Якимыч в его старческой красоте, горевшей последним огнем запоздалой страсти. Да, все пусть рушится... Немка точно выкупала свое собственное крепостное бесправие разрушением крепкой старинной семьи, покоившейся на вековых устоях. Федот Якимыч – все-таки сила, и страшная сила, и приятно, когда такая сила ползала у ее ног. А старик совсем потерял голову и готов был сделать в угоду немке решительно все на свете, – у него не осталось даже того стыда, который удерживает мужчину от последних глупостей. Это

был настоящий пожар, который оставляет после себя только пепел.

– Муж меня зарежет, – говорила Амалия Карловна.

– Не смеет... Молокосос твой муж, вот что!

– Нет, зарежет, я это знаю. Но мне решительно все равно... Мне жить надоело.

Часто бывало так, что Федот Якимыч готов был по привычке вспылить, но стоило немке взглянуть на него, как он сейчас же стихал, точно обваренный кипятком. У него не было слов, не было мыслей, не было воли... А немка нарочно делала все, чтобы поставить старика в неловкое и фальшивое положение: ездила сама в Землянский завод, заставляла Федота Якимыча приезжать в Новый через день и т. д. Она добивалась упорно одного: именно, чтобы Амфея Парфеновна, наконец, все узнала. Что-то тогда будет? От одной мысли у немки кружилась голова. О, она теперь – сила, и пусть другие переживают то, что переживала она.

Но, как назло немке, Амфея Парфеновна ничего не хотела замечать: весь Землянский завод кричал о немке, а она ничего и не подозревала, точно кто напустил на нее слепоту. Правда, она видела, что с мужем творится что-то неладное, но объясняла это нездоровьем или разными делами. Частые поездки в Новый завод тоже имели свое толкование: там шла перестройка фабрики, а Никону Федот Якимыч не доверял. Знали о случае Федота Якимыча и немужка Пелагея и Наташа, и обе молчали, потому что как сказать такую вещь Ам-

фее Парфеновне? Немушка, по-своему, глубоко была убеждена в одном, что немка околдовала старика каким-нибудь приворотным зельем, – впрочем, это было общее убеждение. Статочное ли дело, чтобы такой обстоятельный человек бросил все для какой-нибудь оголтелой немки?

Наташа бывала в Новом заводе теперь гораздо реже и мало видела Никона, что ее заставляло страдать молча и невыносимо, как умеют страдать одни женщины. Она не жаловалась, не плакала, не искала чьего-нибудь сочувствия, а точно наслаждалась своим горьким одиночеством. Новозаводскую попадью она возненавидела, как та ненавидела немку, – это было кровное чувство. По этой причине она стала реже бывать в Новом заводе. Каждая такая поездка ей дорого стоила, потому что она видела то, чего не видел и сам Никон: у истинной любви есть внутреннее зрение.

Раз только Наташа не выдержала. Она осталась как-то вдвоем с Никоном. Он, по обыкновению, не обращал на нее никакого внимания.

– Вам тяжело, Никон Зотыч, – неожиданно проговорила она, прерывая тяжелую паузу.

– Почему вы так думаете, Наталья Федотовна?

Наташа засмеялась и кокетливо ответила:

– А ведь я все вижу... все! Напрасно вы скрываете... Со стороны-то оно всегда виднее...

– Интересно, что вы можете знать...

– А знаю, и весь тут сказ. Знаю и не скажу.

– Нет, скажите, – упрямо заметил Никон, – иначе не стоило и затевать разговор. Ну-с, что же вы знаете?

– Вам это очень хочется слышать?

– Да...

– Извольте. Вы влюблены... в меня.

Наташа громко расхохоталась – до того, что у ней слезы выступили на глазах. Никон смотрел на нее и пожимал плечами: он ничего не понимал.

– Вам только совестно в этом признаться, – продолжала Наташа, довольная, что могла высказать шуткой глодавшую ее мысль. – Наконец, вы знаете, что я вас не люблю. Это уж совсем неудобно...

– Какая вы странная, – заметил Никон после некоторого раздумья. – Разве такими вещами шутят?

– А вы думаете, что я шучу? Ах, вы... Нет, я говорю совершенно серьезно. Да... Очень серьезно. Я давно это заметила... Ха-ха!.. Ну, не притворяйтесь...

– Послушайте, Наталья Федотовна, я окончательно вас не понимаю. Что вы меня не любите, это очень естественно, но я...

– Что вы?

– Я... одним словом, вы ошибаетесь. Я уважаю вас, я считаю себя даже обязанным вам, но любовь – это совсем другое...

– Я тоже знаю, что такое любовь, – серьезно проговорила Наташа, опуская глаза. – И мне совсем не смешно...

Она вдруг замолчала. Никон чувствовал себя крайне неловко и не знал, что ему делать, а между тем он чувствовал, что нужно что-то сделать или сказать.

– Нет, вы странная... – пробормотал он, чувствуя полное бессилие.

– Вы находите? Какой вы недогадливый, Никон Зотыч! Я шучу! А что я знаю, так это то, что вы любите Капитолину Егоровну... Да, любите и думаете, что этого никто не замечает.

– Ну-с, что же из этого следует? – ответил вопросом Никон, щуря свои близорукие глаза. – Полагаю, что я никому не обязан давать отчета в своих личных делах...

– Ах, боже мой, разве можно так разговаривать? – застонала Наташа и сейчас же опять засмеялась.

Она с чисто женскою ловкостью вырвала, наконец, у Никона роковое признание и точно обрадовалась. Да, он любит... С неменьшею ловкостью Наташа выведала все подробности этой любви, хотя репертуар Никона по этой части оказался очень не богатым: он только смотрел на попадю, и больше ничего.

– Неправда! – уверяла Наташа. – Не может быть!.. Живете в одном доме, и нужно быть сумасшедшим, чтобы не сказать ни одного слова.

– Бесполезно...

– А может быть, она поймет вас?.. Вы не знаете женского сердца, Никон Зотыч: женщины часто притворяются, чтобы

не выдать своих истинных чувств. Кажутся равнодушными, даже ненавидят, а все это один обман. Хотите, я сама переговорю за вас с попадъей?

– Да вы с ума сошли...

– А, испугались?.. Ну, как знаете, ваше дело.

Вся эта сцена закончилась неожиданными слезами Наташи, и Никон опять был поставлен в самое дурацкое положение, потому что ни в одной механике ничего не сказано, как следует поступать с плачущей женщиной. А Наташа рыдала и рыдала, потом смеялась и опять рыдала.

– Успокойтесь, Наталья Федотовна, – повторял Никон, наклонившись над ней.

Как он был близко к ней сейчас и вместе с тем как далек! У Наташи сердце разрывалось от горя, но она нашла в себе силы и проговорила:

– Это со мной бывает: сама не знаю, о чем плачу. Вспомнила, как сама любила когда-то... да... Вот и сделалось грустно.

Таким образом, Наташа сделалась поверенным любви Никона и хотя этим окольным путем желала быть ему близкой, чтобы говорить с ним, видеть его, чувствовать его вообще. Это было жалкое нищенство чувства, но и оно давало хоть какой-нибудь исход, а не мертвую пустоту, давившую Наташину душу. Он, Никон, нравился ей весь таким, каким был, даже вот с этим детским непониманием ее горя, ее любви, ее безумия. Милый, родной, дорогой...

Х

Наташа опять зачастила на Новый завод, счастливая свою новою ролью поверенного. К попадье она удвоила свою нежность, хотя та и не поддавалась на эту приманку. Попадья вообще что-то задумала и ходила хмурая, как осенняя ночь. Если кто пользовался этой домашней неурядицей, так изобретатель Карпушка, который являлся в поповский дом, как свой человек. Он приходил каждый вечер к Леониду и просиживал с ним до полуночи. Хохлатый поп Евстигней, Леонид и Карпушка составляли оригинальную компанию, причем говорил один Карпушка и говорил всегда только о себе.

– Родимые мои, каков я человек есть на белом свете? – повторял Карпушка, встряхивая головой. – Золотой человек – пряменько сказать. Цены мне нету, кабы не придавило тогда рюмкой Федота Якимыча... Да. Вот как он тогда меня придавил... Думал я награду получить, вольную, а он мне рюмку выносит. Это как? Могу я это чувствовать аль нет?.. Даже и весьма чувствую... А мне плевать!.. Эх, да что тут говорить: ущемила меня рюмка. Раньше-то я капли в рот не брал, а тут очухаться не могу от господской милости.

Леонид каждый вечер поил Карпушку водкой и сам пил, но водка на него действовала самым удручающим образом, не принося облегчения. Амалия Карловна обыкновенно запиралась в своей комнате и сидела там одна, раздумывая не

известные никому думы. Когда она оставалась с мужем вдвоем, с глазу на глаз, время проходило в мучительном молчании. Леонид был только вежлив, предупредителен и старался совсем не смотреть на жену. «Хоть бы он убил меня скорее, – думала часто немка, – все же лучше этой каторги».

Домашний ад был переполнен невысказанных дум, сдержанных мук и взаимного глухого озлобления. Леонид в глазах жены являлся просто жалким человеком, с роковой ошибкой, несчастной судьбой. Разве она когда-нибудь думала о подобной жизни? Зачем он завез ее в эту трущобу? Зачем он, Леонид, сам такой?.. Если девочкой она еще могла обманывать себя, то женщина смотрела на все открытыми глазами. Ложное положение – вот источник всей беды. Яркая форма проявления старческой страсти Федота Якимыча, вся обстановка, в которой она происходила, и близившаяся развязка занимали немку больше всего, и она любила думать на эту тему. Пусть все мучатся и страдают, как и она. Это было мстительное и полное инстинкта разрушения чувство, на какое способна только женщина, потерявшая под ногами всякую почву.

– Все равно... – повторяла немка самой себе. – Судьба, а от судьбы не уйдешь!

Ненависть попадьи и холодное презрение Наташи она выносила с полным равнодушием и точно сама напрашивалась на какое-нибудь оскорбление. Последнею выходкой с ее стороны в этом направлении было то, что она уехала в Зем-

лянский завод в одном экипаже с Федотом Якимычем. Старик сначала смутился, когда немка заявила о своем желании ехать вместе с ним, а потом исполнил с отчаянною решимостью: э, будь что будет. Снявши голову, о волосах не плачут... Он шел вперед, очертя голову, и видел только одни серые ласковые глаза, глядевшие к нему в душу. Ничего ему не было жаль, никого не стыдно и совсем не страшно: будет что будет. Только бы не потерять ее, эту ласковую, как русалка, беляночку.

Попадья теряла голову и не знала, что ей делать, а между тем что-нибудь нужно было предпринять. Беда была на носу... Попытка посоветоваться с мужем или с Никоном закончилась полной неудачей. Оставалось одно – обратиться к Григорию Федотычу. Он – мужчина, он должен знать, как быть и что делать. Попадья собралась живой рукой и отправилась в господский дом. Григорий Федотыч, конечно, давно все знал, но сделал вид, что в первый раз слышит эту историю. Обозленная попадья выложила ему всю подноготную.

– Амфея-то Парфеновна узнает, я же в ответе за всех буду, – жаловалась попадья, вытирая слезы. – Этакое дело случилось, а она, голубушка, сном дела не знает.

– Да, мамынька тово... – бормотал Григорий Федотыч, сохранивший в себе еще чувство детского страха к грозным родителям. – Пожалуй, оно и лучше, што мамынька-то ничего не знает. Всем достанется...

– Что же я-то делать, Григорий Федотыч?

– А уж это твое дело, Капитолина Егоровна. Раскинь своим бабьим умом, может, что-нибудь и придумаешь...

– Да ведь я к тебе посоветоваться пришла, Григорий Федотыч. Ведь ты – мужчина, должен же сказать мне...

– Ничего я не знаю: мое дело – сторона.

С тем попадья и ушла из господского дома. Что же это такое в самом-то деле? Ведь все равно не сегодня-завтра Амфея Парфеновна узнает все, и тогда расхлебывай чужую кашу... Коли мужчины ничего не могут поделывать, так надо ей действовать в свою безответную бабью голову. Сказано – сделано. Попадья склалась в один час и отправилась в Землянский завод одна.

Много передумала попадья, пока ехала в Землянский завод, да и было о чем подумать. Раза два, по женской своей слабости, она всплакнула, потому что впереди была гроза. Чем она грешнее других прочих, что в огонь головой должна лезть? А тут еще Никон глаз с нее не спускает... Тоже сокровище бог послал! И чего, подумаешь, человек бельма свои на нее выворачивает? У, взяла бы, кажется, всех на одно лыко да в воду... Чем ближе был Землянский завод, тем попадья чувствовала себя меньше, точно ребеночек малый. А вот и завод, раскинувшийся по течению горной речушки Землянки верст на пять. «Где остановиться, у Наташи?» – раздумывала попадья, соображая обстоятельства.

– Ступай в господский дом, – сказала она и сама испугалась собственной смелости: как раз еще на Федота Якимыча

набежишь.

Сердце у попадьи совсем упало, когда ее повозочка въехала прямо на двор грозного господского дома. Встретила ее немушка Пелагея и только покачала головой, когда попадья знаками заявила свое непереносимое желание видеть самое. На счастье, Федот Якимыч был в заводской конторе. Пока немушка бегала в горницы, попадья стояла на крыльце, как приведенная на лобное место. Ах, что-то будет... Когда немушка вернулась и поманила гостью наверх, у попадьи явилась отчаянная решимость. Семь бед – один ответ... Она храбро зашагала по узкой крашеной лесенке в светлицу, где Амфея Парфеновна и встретила ее строгим, испытующим взглядом.

– Здравствуй, дорогая гостьюшка, – раскольничьим распевом проговорила старуха, не приглашая гостью садиться. – С чем прилетела-то? Ну, говори скорее... Вижу, что живая вода не держится.

Попадья боком взглянула на немушку Пелагею и только переминалась с ноги на ногу.

– Ну? – властно повторила Амфея Парфеновна. – При ней можешь все говорить, да она и не слышит... Чего-нибудь, верно, Наташа набедокурила?

– Нет, тут дело не Наташей пахнет, – сказала попадья, несколько обозленная гордостью старухи.

Без обиняков она рассказала все, что сама знала про отношения Федота Якимыча к немке. Старуха выслушала ее

молча, не прервав ни одного раза, точно дело шло о ком-то постороннем. Она только побледнела и строго опустила глаза. Эта неприступность опять сбила попадью, и последние слова она договорила, запинаясь и путаясь, точно сама была виновата во всем и хотела оправдаться.

– Теперь все? – тихо спросила Амфея Парфеновна, поднимая глаза на попадю.

– Все...

Старуха выпрямилась, сверкнула глазами и с расстановкой проговорила, точно отвешивая каждое слово, как дорогое лекарство:

– Так я, милая, не верю ни одному твоему слову... Да, не верю. Не может этого быть... да, не может. Напрасно ты себя только беспокоила.

Обратившись к немушке, она прибавила:

– Проводи ее, да вперед на глаза ко мне не пускай. И худо мое, и хорошо мое, а другим до меня дела нет...

Попадья вышла из светлицы, как оплеванная. У нее даже голова кружилась и ноги подкашивались. В довершение несчастья, спускаясь по лестнице, она столкнулась с самим Федотом Якимычем, который грузно поднимался наверх. Он оглядел попадю с ног до головы, точно видел ее в первый раз, и даже посторонился, давая дорогу. Попадья выскочила на улицу, как ошпаренная, и велела ехать сейчас же домой. А Федот Якимыч постоял на лестнице, покрутил головой и широко вздохнул, – он понял, зачем прилетала новозавод-

ская попадья. Поднявшись наверх, он перевел дух, прежде чем отворить дверь в светлицу. Амфея Парфеновна встретила его на пороге и спросила, показывая глазами на лестницу, по которой ушла попадья:

– Правда?

Федот Якимыч даже зашатался на месте, но ответил:

– Правда, Феюшка...

Дверь светлицы сейчас же затворилась. Он слышал только, как Амфея Парфеновна затворилась изнутри на железный крюк. Неужели все кончено? И так быстро... Прожили сорок лет душа в душу, а тут сразу оборвалось. Старику казалось, что под его ногами зашатался весь родительский дом, и он бессильно прислонился к стене. Что же это такое? Где он? Пахло ладаном, восковыми свечами, какими-то странными духами, какие были только у Амфеи Парфеновны.

– Феюша... Феюшка!

Ответа не последовало. Федот Якимыч закрыл лицо руками и горько заплакал. Все было кончено... Кругом стояла полутьма и мертвая тишина, а он рыдал, точно вот сам умер, – нет, хуже чем умер. Живого в землю закопали бы, и то, кажется, было бы легче.

Амфея Парфеновна слышала все, что делалось перед дверьми светлицы, и стояла неподвижно, как окаменелая. Она походила теперь на разбитое грозой дерево, которое стоит без вершины, с расщепленной сердцевиной и оборванной листвой. Да, ударил неожиданный гром... Она была оскорбле-

на не только как жена, как мать семейства, как хозяйка дома, но, главным образом, как представительница старинного рода Севастьяновых. Федот Якимыч забыл, как она выходила из богатого дома за него, маленького заводского служащего, наперекор родительской воле, как потом переносила для него нужду и лишения, как поддерживала его в неудачах, как довела его до настоящего положения и как, наконец, ввела в свой родовой дом, в котором они сейчас жили. Севастьяновы искони были главными управляющими, и их дом всегда назывался господским. Когда-то большая семья выродилась, род пошел на перевод, и она осталась одна из этой фамилии, полная своей родовой гордости, властных преданий и сознания своего родового превосходства над остальной массой заводских служащих. Да, все это было, но в севастьяновском роду не было ни одного случая, чтобы муж позорил жену... Стояла Амфея Парфеновна и думала. Вот она, гордая девушка, в отцовском доме, к ней засылали сватов с разных сторон, но она полюбила маленького безродного служащего и пошла наперекор родительской воле.

– Попомни это, Амфея, – говорил старик отец, когда уже простил ее, – попомни меня, што счастье не ходит навстречу родительской воле... Захотела ты своей воли – пеняй на себя. У нас этого в роду не бывало: против всего рода ты одна пошла.

Через сорок лет Амфея Парфеновна припомнила эти роковые слова. Ведь и жизнь прошла, и она уже забыла про

них, а они вон когда откликнулись. Девичья воля да своя гордость навстречу роду пошли, а теперь род-то и сказался. Да, вот этот деревянный старинный дом казался старухе неммым укором, а прожитая жизнь каким-то сном... И куда все девалось? Дунул ветер – и ничего не осталось. Недаром за год старинный родовой образ соловецких угодников Зосимы и Савватия, писанный на кипарисной доске, раскололся надвое... Это было знамение, а она в слепоте ничего не видела. Горе пришло в севастьяновский род, позор и уничтожение...

Три дня и три ночи молилась Амфея Парфеновна в своей светлице и никого не допускала к себе, даже немужку Пелагею. На четвертый она спустилась вниз, в горницы, бледная, важная, спокойная, и велела позвать Федота Якимыча. Он вошел в те же горницы, куда ходил молодым, потаенным женихом, и остановился у порога.

– Федот Якимыч, спасибо тебе за привет, за ласку, за твою любовь, – с расстановкой заговорила старуха, не глядя на него. – А теперь нарушил ты родительские заветы, нарушил свои обещанные слова, нарушил родовой дом, и бог тебе судья, а я тебе больше не жена.

Она молча и гордо прошла мимо него, и он даже не посмел взглянуть на нее и стоял у порога, как это было сорок лет тому назад. Чья-то невидимая рука вычеркнула эти сорок лет из его жизни.

XI

Ближайшим результатом экспедиции новозаводской по-падьи в Землянский завод было то, что Амфея Парфенов-на покинула навсегда родное пепелище. С ней вместе уехала немущка Пелагея. Гордая старуха раскольница сначала отпра-вилась куда-то к родным, а потом, как было известно сто-роной, в скиты. Непосредственным следствием этого отъез-да явилось то, что немка переехала в Землянский завод. Она не поселилась в господском доме прямо, а пока заняла от-дельную квартиру. Скандал разыгрался в полной мере, хотя открыто никто и ничего не смел говорить. Федот Якимыч для всех оставался прежней грозой. По отъезде жены он по-сучал недели две, а потом сразу точно помолодел. Все при-писывали это влиянию немки. Родные дети – и те не сме-ли протестовать открыто, а ограничились тем, что перестали бывать у отца, что его страшно возмущало, хотя он этого и не высказывал.

– Все мое: худо и хорошо, – повторял он, – и дети не судьи родителям. С Амфеей Парфеновной меня бог рассудит...

В сущности он побаивался детей, особенно резкой Ната-ши, и храбрился только для видимости. На него иногда на-катывались минуты тяжелого раздумья, и тоска схватывала за сердце. Что он делает? К обыкновенным будничным мыс-лям и ходячей морали примешивался религиозный страх и

сознание большой ответственности. Обыкновенно такое настроение захватывало старика по вечерам, и он старался не оставаться в пустом доме один, а уезжал к немке, где успокаивался. Да как было и не успокоиться, когда она умела так заговаривать его стариковское сердце своими ласковыми бабьими словами; смехом и молодым весельем точно солнцем осветит?

После недавнего веселья в поповском доме в Новом заводе наступила мертвая тоска. Братья оставались на той же квартире и жили теперь в одной комнате. Попадья не раз покаялась за свою торопливость объявить все Амфее Парфеновне: она сыграла в руку немке... Даже хохлатый поп, вечно молчаливый, и тот сказал ей:

– Ну, попадья, дуру сваяляла...

Леонид жил отщепенцем. День проводил на службе, а остальное время запирался в своей комнате. Единственным человеком, пользовавшимся его расположением, был Карпушка. Изобретатель прямо проходил в комнату к Леониду, требовал водки, разговаривал вслух сам с собой.

– Эх, жисть! – повторял он каждый раз. – Дуракам только на белом свете и жить, а умному человеку зарез... А все судьба, Леонид Зотыч. От своей судьбы, брат, не уйдешь... Нет, брат, от нее не скроешься: на дне мороком сыщет. Тут, брат, шабаш!.. А ты, Карпушка, свою линию не теряй, потому как умный человек и могу соответствовать вполне. Да... Кто машину наладил в Землянском заводе? – Карпушка... Кто на-

граду водкой получил? – Карпушка... Кто из кабака не выходит? – да все он же, Карпушка, – вот вся главная причина. Какое такое полное право Федот Якимыч имел губить живого человека?.. Эх, жисть проклятушая... Так я говорю, Леонид Зотыч? Правильно? Голубь ты мой сизокрылый, Карп Маркыч, брось ты водку, остепенись, погляди, как добрые люди на белом свете живут, – живут да радуются.

Карпушка пил водку, бормотал все слабее и кончал тем, что засыпал тут же на месте тяжелым пьяным сном. В угоду брату Никон переносил это безобразие и не обращал на Карпушку никакого внимания.

Никон остался прежним Никоном, так что попадья успела к нему привыкнуть и больше не боялась его. Собственно, он один и оставался живым человеком в доме. И каждое дело он делал по-своему, не как другие. Попадье нравилось больше всего то, что Никон понимал каждый ее шаг и по-своему ценил ее. И веселье, и горе, и неприятности – все он видел, точно в книге читал душу попадья. А главное, сам виду не подает, что знает, чего не знает.

«И мудреный же человек уродится, – часто думала попадья, приглядываясь к Никону. – Никак ты его не разберешь».

Прежде она боялась, что Никон будет приставать к ней, а теперь и этого нет. Никон даже перестал смотреть на попадью. Когда он скучал, попадья умела его утешить, как никто: возьмет гитару да и споет. Федот Якимыч, бывало, так гоголем и заходит, если песня по нраву придется, а Никон только

трубочку посасывает.

Раз летом все отправились в поле. Поп с попадьей, Никон, Леонид с Карпушкой – все поехали. Верстах в трех от завода был казенный поповский покос с медовым ключиком и рыбной горною речкою. Поп захватил с собой бредень, чтобы устроить уху из живых харюзов. День был отличный, светлый, жаркий. А в лесу стояла настоящая благодать. Карпушка первым делом соорудил костер, чтобы дымом отогнать лесной овод. Попадья занялась устройством соответствующей закуски и выпивки. Леонид лежал на траве, закинув руки за голову. Когда поп с Карпушкой скрылись в кустах с бреднем, попадья совсем развеселилась и, забыв всякую осторожность, проговорила:

– Никон Зотыч, пойдете землянику брать.

– Что же, пойдете, – равнодушно согласился Никон.

Леонид остался у костра, а Никон с попадьей пошли в лес. Она сейчас же спохватилась, что как будто неладно сделала, но из непонятого упрямства не хотела вернуться. Да и было очень смешно, как близорукий Никон ползал на коленях, отыскивая в траве спелую ягоду. Попадья так и заливалась неудержимым хохотом, помыкая своим спутником, точно ручным медведем. Она была одета в летнее ситцевое платье и в простой платочек на голове. От жары лицо попадья покраснелось, и она сняла даже платок.

– Вон там ягоды, – указывала она ползавшему Никону. – Эх, ничего вы не видите у себя под носом. Слепой курице

все – пшеница.

Расшалившись, попадья наклонилась к Никону, показывая ягоды, но в это время ее схватили две сильных руки, так что она не успела даже вскрикнуть.

– Никон, ради бога, отпусти... – шептала попадья, изнемогая в неравной борьбе. – Голубчик... Никон...

Прежнего Никона не было, – он потерял свою голову, а попадья свои песни и беззаботное веселье. Когда поп с Карпушкой вернулись с добычи, попадья и Никон сидели у костра и смотрели в разные стороны. Лов был удачный, и хохлатый поп торжествовал. Леонид попрежнему лежал, уткнув лицо в траву, точно раздавленный.

– Эх, жисть! – ругался Карпушка, недовольный общим невеселым настроением. – Не ко времени мы с тобой, поп, харюзов-то наловили. Оморошные какие-то...

С горя Карпушка напился влоск, так что его увезли домой пластом.

На другой день попадья не показывалась совсем: она лежала на своей двуспальной кровати и горько плакала. На третий день она вышла, когда Никон был один, и сказала:

– Никон Зотыч, грешно вам... да, грешно. Што вы со мною сделали? Я была честная жена попу, а теперь как я ему в глаза-то буду глядеть? Грешно вам, Никон Зотыч.

– Я вас люблю, Капитолина Егоровна, – ответил Никон. – С первого раза полюбил.

– А я не люблю вас.

Никон выпрямился, взглянул на попадью испуганными глазами и пробормотал:

– Зачем же вы... мне казалось...

– Нет, не люблю! – повторила настойчивая попадья. – Вот пойду и повинюсь во всем попу, а вы уезжайте, куда глаза глядят. Мой грех, мой и ответ...

– Куда же я пойду? – беспомощно спросил Никон.

– Ах, господи! – взмолилась попадья, ломая руки. – Да уйдите вы от меня: тошно мне глядеть.

Никон помолчал, пожевал губами и спросил в последний раз:

– И только, Капитолина Егоровна?

– И только, Никон Зотыч.

Он круто повернулся, нахлобучил шапку на глаза и вышел. Больше Капитолина Егоровна так его и не видала. Как на грех вечером пригнала Наташа и по лицу попадьи сразу догадалась, что случилось что-то важное. Она повела дело политично и не заговорила сразу о главном, а целый вечер болтала разные пустяки. Только уже в конце она спросила:

– А где Никон Зотыч?

– Кто его знает, куда он ушел: взял шапку и пошел, – ответила попадья, пряча виновато глаза, – меня он не спрашивается... Я ему сегодня от квартиры отказала. Надоели мне эти басурманы хуже горькой редьки.

Наташа только сжала губы, как делала мамынька Амфея Парфеновна в трудных случаях. За последнее время

она сильно изменилась – похудела, осунулась, присмирела. Очень уж тошно ей жилось: дома – на свет белый не смотрела бы, а приехала в Новый завод – того хуже. Ни свету, ни радости, когда бунтует каждая жилка и молодое сердце обливается горячею кровью.

А Никон ушел на фабрику и там ходил из корпуса в другой. Работы по перестройке и ремонту приходили к концу, и он осмотрел все, как делал каждый день. Только обедать он домой не пошел, а закусил тут же, в меховом корпусе, вместе с рабочими. К вечеру и работа вся была кончена, а Никон все не уходил из фабрики. Он ушел в кричный корпус, присел на лавочку к уставщику и смотрел, как работают новозаводские мастера, вытягивая железные полосы. А работали новозаводские мастера ловко. Кричное производство было поставлено искони, как построена фабрика. Никон сидел и смотрел на ярко пылавшие горна, на добела накалинные полосы железа, на суевившихся рабочих, а в голове стучали свои молота, выковывая одну роковую мысль:

«Не люблю, не люблю, не люблю!»

Огнем горело сердце Никона, и чувствовал он, как сделался самому себе чужим человеком.

Из кричного корпуса Никон несколько раз уходил в меховой, – придет, остановится против мехов и смотрит, как машина набирает с подавленным шипеньем воздух. Два громадных цилиндра, положенных горизонтально, работали отлично. Поршень, приводимый в движение водяным колесом,

вдвигался и выдвигался с эластической легкостью; заслонки раскрывались и закрывались без малейшего шума, хотя от этой работы дрожали стены нового корпуса. Все было пригнано с математической точностью, и Никон любовался новой машиной глазом знатока. Мальчик-машинист вертелся около него с паклей в руках, ожидая приказаний.

– Ты что тут суешься? – спросил Никон, заметив его, наконец.

– А так, Никон Зотыч... Я при машине. Машинист вышел, так я за него.

– Молодец!

В это время в меховой корпус, пошатываясь, ворвался Карпушка. Он еле держался на ногах.

– Никон Зотыч... родимый... она там, – бормотал Карпушка, указывая рукою на плотину. – Она ждет.

Никон весь вздрогнул и дикими глазами посмотрел на пьяного Карпушку.

– Кто она? – тихо спросил он, чувствуя, как у него сводит губы.

– Да все она же, Наталья Федотовна... Наказала вас вызвать туды на плотину. Словечко, грит, надо сказать.

– А... хорошо, – протянул Никон, щупая свою голову. – Скажи, что я сейчас.

– Так и сказать, Никон Зотыч?

– Так и скажи.

– Так я тово...

– Убирайся, болван!

Карпушку вынесло из мехового корпуса точно ветром.

Пока он расслабленную, пьяною походкой переходил фабричный двор и поднимался по крутой деревянной лестнице на плотину, где его ждала Наташа, Никон успел еще раз пережить всю свою неудачную жизнь. Да, он все пережил – и свои гордые мечты, и окружавшую его тьму, и пустоту, наполнявшую его душу. Потом он выпрямился, застегнул на все пуговицы рабочую куртку и выслал мальчика-машиниста в слесарную. Когда мальчик вернулся, то увидел ужасную картину: Никон на коленях стоял у мехового цилиндра, а голова была раздавлена работавшим поршнем.

Как это случилось – осталось неизвестным. Никон мог упасть головой в цилиндр нечаянно, поправляя какую-нибудь гайку, а могло быть и не так... Знали о последнем только новозаводская попадья да Наташа – и больше никто.

XII

Прошло три года. На заводах все шло по-старому, за исключением того, что вместо Никона заводским механиком поступил рыжий англичанин Брукс. Федот Якимыч царил над всеми и всем попрежнему, хотя заметно опустился и начал по временам забываться, – последнее было замечено верным рабом Мишкой. Амфея Парфеновна проживала где-то в скитах, и к ней ездила одна Наташа. Дети примирились с Федотом Якимычем и время от времени навещали его. Частым гостем в господском доме теперь был мистер Брукс, напоминавший во многом Никона: такой же гордый, упрямый и умный. Старик Федот Якимыч полюбил его, хотя мог объясняться с ним только при помощи Амалии Карловны, – англичанин говорил невозможным ломаным языком. Теперь немка свободно являлась в господский дом, и мало-помалу все к этому привыкли, так что казак Мишка называл ее «наша барыня». По вечерам в господском доме шла игра в преферанс, обыкновенно составляли партию сам хозяин, немка и мистер Брукс. Когда игра затягивалась за полночь, мистер Брукс провожал немку до ее квартиры.

Наташа жила в своем купеческом доме, но сделалась неузнаваемой – похудела, осунулась, постарела. Смерть Никона произвела на нее потрясающее впечатление и унесла с собой все Наташино веселье, заразительный смех и са-

мую молодость. Она заметно стала чуждаться людей и сделалась богомольной, как мать. В характере Наташи проявились черты родовой гордости и печальной раскольничьей религиозности. Внешним миром она перестала интересоваться и как-то вся ушла в себя, – глаза смотрели бесстрастно, губы складывались строго, и в каждом движении чувствовался прежде времени отживший человек. Даже к пьянице мужу Наташа стала относиться терпимее, как умирающий человек, который прощает даже своего самого злого врага. Это умирающее спокойствие Наташи время от времени нарушалось только приезжавшей из Нового завода попадьею, приво- зившей какие-нибудь новости, – попадья знала решительно все, что делалось на заводах, и сообщала Наташе последние землянские новости. Как-то в великий пост она приехала в необычное время и заявила к Наташе с таинственным видом.

– Ну, что скажешь? – спрашивала Наташа без предисловий.

– Ох, плохо, моя голубушка! Уж не умею, как и сказать... Попригчилось что-то с Леонидом Зотычем: вот уж третья неделя пошла, как молчит... На службу не ходит, а лежит у себя в каморке и молчит...

– Может, рассердился на кого-нибудь?

– Нет, ровно бы не на кого ему сердиться... Говорю: попригчилось. И с Карпушкой ничего не говорит... Прежде-то хоть с ним словечком перемолвится, а теперь и этого не ста-

ло. Я своего попа подсылала, да от него какой толк?.. Тошно смотреть-то, да и страшно в другой раз.

– Чего страшно-то?

– А кто его знает, что у него на уме... Чего-нибудь думает же: молчит-молчит, да как бросится, неровен час... Уж только и квартирантов мне бог послал: как есть вся смаялась.

Попадья присела на стул и даже всплакнула, припомнив нанесенную ей Никоном обиду. Наташа поняла это движение, вспыхнула и как-то брезгливо отвернулась от старой приятельницы.

Это известие точно на ноги поставило Наташу. Она сейчас же отправилась к отцу разузнавать, как и что, – в конторе должны были знать все из ордеров Григория Федотыча.

– Дурит Левонид, и больше ничего, – равнодушно объяснил Федот Якимыч, стараясь что-то припомнить. – Как будто Григорий доносил в контору, а, между прочим, не знаю.

Наташа опять вспыхнула и резко проговорила:

– Тятенька, как вам не совестно? От кого Леонид-то Зотыч страдает?

– Ты... ты... Да как ты смеешь отцу такие речи говорить?

– А скажу, и все тут... Хоть бы вольную ему дали, Леониду, а то ведь он измучился весь. Легкое место сказать...

Федот Якимыч вспылил, как давно с ним не бывало: затопал ногами, закричал и выгнал Наташу вон. Она так и ушла, не простившись с отцом, ушла полная решимости и жалости к несчастному Леониду, в котором продолжала любить тень

погибшего Никона. Не откладывая дела в долгий ящик, Наташа вместе с попадьею отправилась на Новый завод.

Леонид действительно лежал в своей комнате и не ответил Наташе ни одного слова, как ничего не говорил и с другими. Наташа посоветовалась с братом Григорием Федотычем и решила увезти Леонида в Землянский завод, чтобы там полечил его свой заводский доктор. По наружности Леонид был неузнаваем: похудел, побледнел, оброс весь волосами. Его отправили в сопровождении Карпушки, а Наташа поехала вслед за ними.

– Ну, слава тебе, господи! – взмолилась попадья, когда последний квартирант оставил поповский дом. – Теперь, поп, уж шабаш квартирантов держать: озолоти меня всю – не возьму.

Покаялась попадья своему хохлатому попу или не покалась, так и осталось неизвестным, только поп молчал по-прежнему.

Наташа привезла Леонида прямо к себе в дом. Свободных комнат было достаточно, а муж ничего не мог сказать, – что же, пусть его живет. Когда свои лавочники начинали вышучивать, Недошивин отвечал одно и то же:

– Особенная у меня жена... Не чета вашим-то бабам, чтобы про нее разные слова говорить. Да... У ней все по-своему: в мамыньку родимую характером-то издалась.

Мать Гордеевых была еще жива и приплелась в Недошивинский дом, чтобы своими старыми глазами посмотреть на

обрушившуюся новую беду. Она не плакала, не жаловалась, а только удивлялась, – ее захватило уже старческое детство. У Наташи изболелось сердце при виде этих несчастных, но она ушла вся в хлопоты: нужно было устроить Леонида, пригреть и утешить старуху, пригласить доктора и т. д. Жизнь точно вернулась к ней: нужна же и она, Наташа, нужна не себе, а вот чужим людям. А как надрывалось ее женское истрадавшееся сердце – знали только лики потемневших старинных образов.

Приглашенный для совета заводский врач внимательно осмотрел больного, выслушал его, выстукал и только покачал головой.

– Дело безнадежное, – объявил он Наташе, – общий медленный паралич.

Наташа так и повалилась, как подкошенная. Она не горевала так, когда умер Никон, а теперь обрывалась последняя живая ниточка, которая незримо привязывала ее к тени прошлого. Ведь это ужасно, – живой мертвец!.. В следующую минуту Наташа усомнилась в докторском определении, и сама принялась лечить больного разными снадобьями от своих раскольничьих старух лекарок. Ей помогал один Карпушка, неотлучно состоявший при больном. Изобретатель-самоучка сделался своим человеком в недошивинском доме и пил теперь водку вместе с хозяином. Последний даже рад был компаньону и, хлопая его по плечу, говорил:

– Да ты, Карпушка, целая фигура, черт тебя возьми! Вон

как водку-то заливаешь...

– От ума я пью, Федор Иванович. Другие-прочие от глупости, а я от ума.

Целые дни Наташа просиживала над своим больным, точно птица над выпавшим из гнезда и разбившимся птенцом. Ей иногда казалось, что в этом безжизненном лице являлась слабая тень мысли и в глазах искрится сознание. Но эти редкие светлые промежутки сейчас же заслонялись темною ночью бессознательного состояния. Леонид никого не узнавал и ни с кем не говорил. Так медленно тянулся один день за другим! Так дни тянутся только в тюрьме да у постели больного. Наташа все-таки смутно надеялась на что-то: неужели ее труды и заботы должны были пропасть даром, как пропала и вся ее жизнь? Ей в первый раз пришла в голову мысль, что ведь это несправедливо... Да, несправедливо. А ведь все могло бы быть иначе... Сидела Наташа и раздумывала свои одинокие думы, вся охваченная неудовлетворенным желанием жизни. В Леониде для нее умирало что-то такое бесконечно родное, точно это была она, Наташа. Она и по ночам приходила проведать больного и смутно старалась в этом безжизненном лице найти дорогие ее сердцу черты... Иногда ей казалось, что она узнает в нем другое лицо, и смертный страх охватывал Наташину душу. Господи, сколько ей хотелось сказать вот этому лицу, выплакать свое горе, просто потужить и погоревать, чтобы хоть на минутку отлегло на сердце.

Раз ночью, когда Наташа таким образом сидела в комнате Леонида, в дверях неслышными шагами появилась темная высокая фигура и остановилась. Она инстинктивно оглянулась и оцепенела от ужаса: это была сама Амфея Парфеновна в темном скитском одеянии. От ужаса Наташа не могла в первую минуту выговорить ни одного слова.

– Мамынька... родная... да ты ли это?

– Я, милушка... Не бойся, родная.

– Да зачем ты здесь, мамынька, в такую пору?

– Сердце – вещун, доченька... Нужно, вот и приехала проведать. С ума ты у меня не шла... дошли твои слезы, горяща, до материнского сердца. Преступила свой скитский обет и приехала...

До света мать и дочь сидели вместе и вместе плакали мирскими грешными слезами. Все рассказала Наташа матери, ничего не утаила и билась у нее в руках, как подстреленная птица. Грозная была женщина Амфея Парфеновна – свое собственное горе перенесла без слезинки, а тут не стерпела: за Наташу плакала, за Наташину хорошую душу. Когда рассвело, старуха спохватилась и сразу сделалась неприступною и гордою.

– Будет реветь, – оговорила она вздрагивавшую от подавленных рыданий Наташу. – Не к тому дело идет.

– А к чему, мамынька?

– Сама я не знаю...

Так и замолчала суровая скитница, – она точно жалела

свою прорвавшуюся женскую жалость и только хмурилась. Сердце Наташи опять сжалось предчувствием новой беды: ох, неспроста мамынька из скитов наехала, – быть неминуемой беде.

А беда была не за горами.

Федот Якимыч несколько дней все задумывался. Ссора с Наташей мучила его. В самом деле, жену свою выгнал из дому, другую жену развел с мужем, а тут еще Леониду попритчилось что-то. Стороной он слышал, что Леонид – не жилец на белом свете, и для очищения своей совести велел в конторе написать ему вольную. С этою роковою бумагой в недошивинский дом был отправлен верный раб Мишка. Его встретила сама Наташа.

– Вот Федот Якимыч бумагу прислали... – бормотал Мишка, вытягиваясь в струнку.

Наташа схватила вольную и птицей полетела с ней к больному. Она растолкала его и со слезами на глазах громко читала роковое освобождение. Леонид смотрел на нее и силился понять.

– Воля, Леонид Зотыч... – повторяла Наташа, задыхаясь от слез, – воля... Неужели вы ничего не понимаете?

Ее искреннее горе передалось и ему. Он посмотрел на нее совсем разумными глазами, вздохнул и, повертываясь к стене лицом, проговорил всего одно слово:

– Поздно...

Леонида хоронили через несколько дней. В день похорон внезапно умер Федот Якимыч: он застал мистера Брукса в объятиях немки, пошатнулся, захрипел и без слова, бездыханный, повалился на пол. Амфея Парфеновна не даром наехала из скитов: она по-христиански во всем простила мужа, а Наташу увезла с собой в скиты.